

Ефименко А.О.

X-AVIA

МОСКВА 2011

УДК 82

ББК 84

Ефименко А. О.

«X-AVIA» – М.: «ИРИС ГРУПП», 2011, - 226 с.

ISBN 978-5-452-00179-9

УДК 82

ББК 84

ISBN 978-5-452-00179-9

Иллюстрации Тетки Аиды

© Ефименко А. О., 2011

© Издательство ООО «ИРИС ГРУПП», 2011

Ефименко А. О.



X-AVIA

Все события и персонажи данного текста выдуманы автором. Любое сходство с реально существующими либо существовавшими людьми является случайным.

Руки, дворники на лобовом стекле и шлагбаумы относятся к семейству Рычаговых. На них влияет силовое воздействие извне, либо импульс одного из механизмов, встроенных внутрь конструкции.

Флаги-знамена, мельницы и волосы относятся к семейству Флюгеровых. Они меняют вектор, руководствуясь внезапным порывом, непредсказуемо пришедшим с какой угодно стороны света.

В этом, собственно, и заключается сакральная разница абсолютно всех предметов, характеров и мотиваций.

Часть первая.

ВРЕМЯ – АЛЬФА.

Глава 1.

Интродукция

[объяснение тому, почему этот роман – суть продолжение романа «125 RUS». Достаточно неудобно читается, потом будет попроще]

*«Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!
Вот арфа золотая:
Пускай персты твои, промчавшись по ней,
Пробудят в струнах звуки рая.
И если не навек надежды рок унес, -
Они в груди моей проснутся,
И если есть в очах застывших капля слез –
Они растают и прольются.
Пусть будет песнь твоя дика. Как мой венец.
Мне тягостны веселья звуки!
Я говорю тебе: я слез хочу, певец,
Иль разорвется грудь от муки.
Страданиями была упитана она,
Томилась долго и безмолвно;
И грозный час настал – теперь она полна,
Как кубок смерти, яда полный.*

(Д.Г.Байрон)

Да, плевать. Черт, именно так. Пишу и пишу, и буду, пока это – да, вы уже угадали, может быть, - пока это *выносит мне мозг*. В пережитках прошлого и постепенно затвердевающей чешуе будущего, в годовых зарубках на дереве, в этих возрастных кольцах, что делают меня все жестче и жестче, когда все надеялись скруглить острые углы жизненным опытом, когда все надеялись скруглить мои выпирающие отовсюду обтянутые кожей острые кости, когда все надеялись на авось, а я разоралась в коридоре: «Кто же будет думать об угрозе экологической катастрофы?» - эй вы, я-то хоть стараюсь не быть сволочью: выключаю воду, когда чищу зубы, доношу пустую коробочку из-под сигарет до урны, жертвую на благотворительность, я пытаюсь не быть скотиной, fucking hell!

А они, блаженные, веруют. До сих пор, подумать только. Оу йес, и это тоже выносит мне мозг. С гайкой на безымянном, они ходят в церковь, золотая цепь на шее со знаком зодиака, они пекут пироги и отбеливают зубы содой с перекисью водорода, они водят крутые тачки, я знаю, они водят круглые, как бильярдный шар, лаковые тачки, седаны. Чак Паланик разрушил им иллюзии, но заложенный генетически религиозный фетишизм пока что держит их на плаву. Они верят в своего Бога, никакой пощады, никакой пощады. Никакого творожка до пасхальных яиц, ни-ни, никакой пощады. Мои музыкальные пальцы скрипели и хрустели без творожка, никакой пощады! Клейкая лента для мух на потолке гастронома тянулась к липкому полу, пока они стояли в очереди за продуктами. Аякс, я нормально теперь питаюсь. Аякс, я в порядке. Аякс, я все знаю.

Я ехала домой летней ночью по темной тайге на своем, да не совсем своем, а по доверенности, ну и какая разница, никто же не видит, пикапе Toyota Hilux, белого цвета, трехместном, с большим кузовом, на моем «Хайлаксе», питающемся дизельным топливом и носящим номер 645. Давайте по-быстрому, weiter weiter¹! На обочине, той самой, на которой живут духи обочин дорог из японской мифологии, стоял на аварийке бордовый микроавтобус Nissan Largo с номером 332. Треугольник горит, просит S.O.S. Я остановилась. Вокруг никого. В самой машине – тоже пусто. Одно ясно – стрелка говорит, что бензина нет. Значит, водитель Ларго пошел пешком до дома по тайге. Бардачок открыт, из него торчит ворох бумажек, перетянутых канцелярской резинкой и маркированных стикером «125 RUS». Это квадратик моего автомобильного номера, код региона, с правой стороны. И номера микроавтобуса, натюрлихь.

«125 RUS» в бумажках – это роман, написанный моим братом Андреем, которого никогда никто нигде не видел. Я искала его в родительских фотоальбомах – тщетно; звала, всматриваясь в переливчатую вязкую морсководную лазурь – пусто; отправляла ему сообщения по всем телеграфным столбам, стоящим вдоль шоссе во все аэропорты мира – глухо. И та рукопись, получается, единственный мне от него ответ. Не густо. Андрей, он же Аякс, он же мой мертворожденный брат, думает, что пишет, а на деле не поймет, жив он или нет. И напоследок выбрасывает в море бутылку с письмом-посланием – забрасывает в лесу микроавтобус со своим дневником.

Вот, а по ту сторону рампы, в мягких велюровых, посмеялись да похлопали. Сначала так смущенно, в полтакта, вприглушку, а потом, «в этом бесконечном крещендо», разражаясь бурными, искренними, срубившими хрустальную люстру и тяжелый (но не железный) занавес, аплодисментами, бедолаги получили даже больше, чем указано в либретто. Я составляла либретто по главам, чтобы было легче ориентироваться, в этих проклятых чертовых паутинах, они расплзались по всем комнатам, в которых не было электричества, по пыльным дворам, где уж тут успеть их собрать в один незамысловатый сюжет.

И, черт, я же у него спрашивала. Телеграфировала по всем столбам, даже на дне Геенны Огненной, что в городе из серии Великих, наподобие Вавилона или Карфагена, или чего-то такого же мутного и древнего, песчаная труха, влажные плечи выходят на солнце из гротов. Эй, а вот и любимая фраза (сейчас-сейчас, скоро будет!), я спрашивала у кромки Эгейского моря (соль и перламутр), у Средиземного (кораблики прочь-прочь), у даже Мертвого (вообще пустота, но забавно), у Черного (виноград и орехи), у златопесчаного Андаманского, да и, черт возьми, о да – о да, у самого Японского (солярка), но – wieder!² – никакого ответа. Это потому что тебя, Андрей, черт возьми тебя, сам черт тебя возьми, Андрей, никогда и нигде не было, даже для того, чтобы хоть кому-то сказать мне, что же делать с тремя простыми сюжетными линиями, да двадцатью семью псевдонаучными справками.

Я попытаюсь свести свою жизнь к нулю. Привет, Лу Рид! Давайте переделаем еще чуток повеселее. Лу Рид, это, разумеется, «Heroin, be the death of me»³. Зарина. Ее звали Зарина. На минус каком-то по счету этаже, за пятнадцать минут до того, как Андрей сдавал зачет по мифологии (или сравнительной мифологии. Или сравнительному изучению мифологии. Или чему их там еще учили?), он спросил Зарину из института

¹ Нем. «Дальше, дальше!»

² Нем. «Снова»

³ Англ. «Героин, будь моей смертью.»

изучения восточных культур и античности, что она слушает. Она ответила «Velvet Underground». И тогда я уже сказала Андрею: «Привет, Лу Рид!»

В тот же вечер, когда Зарина передала привет Лу Риду, я бросилась на дверцы шкафа в прихожей, клянусь, сама ненамного тяжелее даже одной из них, плюс дверная ручка, это же еще несколько граммов, это как оправа моих очков или, скажем, часы на запястье, но, если снять часы либо очки, а, еще лучше, и то и другое, и башмаки в придачу, тогда я буду весить столько же, сколько дверца шкафа в моей прихожей; я рвусь к ней, перемахивая через одну ступеньку, на три этажа вверх, выше, еще выше, на слегка потасканном сцеплении, на плохой, расшатанной и, опять же, слегка потасканной механической коробке переключения передач, но, after all, я попадаю домой. В бежевую натурность немного уставших занавесок, они идеально впитывают дым, парфюмерию, слова вслух – все, что угодно. И, если я очень везучая, а я практически всегда очень везучая, дома никого нет, и эти колени подламываются вперед, картонные солдатики падают навзничь, валяются в грязь чеховские люди под телеграфными столбами (см. рассказ «Спать хочется»), летишь вниз, как за минуту этого – наверх, на самый третий этаж, наверх, вон из метрополитена, на свет божий; вот-вот, вектор сменился, и всё, всей усталостью – в кровать, там можно пробыть до самого завтра, там можно думать о великой музыке, об искусстве, что спасет мир, о правоте Достоевского, о том, что есть захочется только завтра, а сегодня мы победили.

Мне предрекали невозможность переключать, а я в автомобиле дергаю ручку так, будто та – лишь продолжение моей собственной кисти. Невозможность усвоить хитрую последовательность скоростей: первая-вторая-третья-четвертая(хилая)-пятая(лихая!)-задняя. Куда уж там! Все умники на автоматах. В бильярдных, боулинговых, яйцеголовых, натертых до блеска крутых тачках, глядят небрежно и ненавязчиво АКПП, а мне сложности подавай. Аякс говорил (Аякс говорил?), что моя быстрее разгонится, ибо ничего толкового не везет. Аяксов Ларго вез так много толкового, что сожрал весь бензин в темной и страшной тайге, и пришлось спасать. «Как же тяжело рулить на механике», бог мой, да ведомо ли им вообще, что такое тяжело и что такое как же тяжело?

У моего Хайлакса высокая длинная ручка переключения, с такой старомодной рукояткой, на которой фреской высечена та самая невозможная геометрическая схема «первая-вторая-etc». При красивом закате, желательно, в августе, ручка переключения по толщине примерно такая же, как и моя рука. Иногда я на это так засматриваюсь, что забываю включить поворотники. Но это не страшно: поворотники куда толще моих пальцев и где-то тоже подходят на руки до локтя. Что я и говорила, мы с этим авто заодно. Потасканное сцепление, прогорклый дизель. Я буду плевать дизелем, когда еще раз окажусь на Шаморе в шторм, и Андрея в который раз там не будет! – в общем, ладно, об этом уже говорено на ста девяносто семи страницах его книги.

А тогда я ехала домой, подцепила сверток с буквицами, и ехала на юг, к отцу. Мы тогда здорово поругались с ним. Мой муж говорил, успокойся, мы же в гостях. Отец сказал мне: «Завтра чтобы духу твоего здесь не было! В ночь я тебя, конечно же, не выгоню, но завтра иди куда хочешь». Я покидала вещи в чемодан, сказала Б., моему любимому мужу, вызвать такси, и мы в ночь уехали во Владивосток. Поселились в гостинице, в номере 910, с видом на Амурский залив, и с того момента началась бесконечная одиссея Аякса-на-моем-месте.

Вторая же часть меня тогда, о да, о черт, это выносит мне мозг, тут же выехала в аэропорт. При мне даже не было электронного пианино. Я купила билет туда черт знает

куда, и вот я здесь, в псевдоальпийском поселке «Черные Сады», о котором речь пойдет позже. Там, во второй части, на оборотной стороне луны не было никого, ни отца, ни мужа Б., ни Андрея, его же, как всегда, никогда нигде не было. Я осталась в Черных Садах разбирать его каракули и вязать из них крючком длинные и нудные шарфы романа «125 RUS». У меня есть немножко от старой жизни, конечно же, есть. Фигурка Моцарта в красном камзоле и Словарь китайских топонимов на Дальнем Востоке, ну, и я до сих пор стараюсь не быть сволочью.

Я называюсь Кристабель, потому что сейчас уже можно ни на кого не оглядываться и сколько угодно играть со сказочными именами. Поэма Кольриджа «Кристабель», это творение знаменитого представителя Озерной школы. Я живу с И., флейтистом-канатаходцем из Степногорска (Šteпноhořskъ), он бродил по струне от бас-гитары, натянутой на шпиль Кафедрального Собора, он говорит, что когда-то зарабатывал на этом неплохие деньги. Мы с флейтистом познакомились при аэропорте и при аэропорте же работаем поныне, в цехе бортипитания, на заводской ленте, и иногда, ночью, когда все зеркала мутны дочерна, я боюсь, лежа рядом с флейтистом И., которого подпольно кличут Дантес, я боюсь, что он может показаться слегка худее меня, а с утра мы вновь идем на работу, да только моя голова никак не хочет становиться легче, держит в себе и отца, и мужа, и Хайлакс, и мое забытое теперь уже навсегда пианино, и деревянные руки шлагбаума, и столбы, и рельсы, и шпалы, и железнодорожные гробы. Я иду на работу, каждый день я иду на работу, и, пока я иду, мне не так хочется есть, а значит, сегодня мы победили.

Глава 2.

На взлет

«Ямщик, не гони лошадей...»

(Романс)

Все началось с того, что четвертого апреля мы с Б., моим любимым мужем, улетаем в отпуск, на недельку отдохнуть, погреться на солнышке, покупаться в море. С утра все наши вещи были упакованы, забиты до захлеба багажники, вылет в теплые края ожидался ночью, поэтому мы решили потратить день на досвидания с родней, для чего и поехали на дачу, в наш огромный особняк, который я иронично окрестила Грозным перевалом.

Б. – автомобильный бог второй эпохи Запада. Никто не водит машину лучше него, и на многих следующих страницах я буду периодически делать различные эквивоки в сторону авто, ключей от авто, широких шоссе. Уразумейте тогда, что все это – символы моего супруга. Металлическое колечко, на котором висят ключи – это наше с Б. обручальное кольцо. Гладкие трассы – наш любимый семейный досуг. Радиомагнитола – священник, перед которым мы однажды весной произнесли свои брачные обеты.

Есть еще один автомобильный бог. Он зовется автомобильный бог первой эпохи Востока. Это мой отец. Он остался во Владивостоке, и на том земном полушарии нет ему равных в мастерстве вождения, тогда как на этом, западном полушарии это звание Великого Бога-Шофера носит мой муж. Вот так получилось, что оба автомобильных царя оказались моими родственниками, мне повезло. Милые мои водилы, с детства и по самую трезвую зрелость смотрела я с вами сквозь лобовое на проносящиеся мимо пейзажи, сидя на переднем сидении, с противоположной стороны тому, где находится руль, справа или слева. Мы рассекали пространство под правильную музыку. Они, перепачканные машинным маслом, в гараже, полном аккумуляторов, меняли тормозные колодки, переобувались в зимнюю и летнюю резину, мои Автоимператоры. С покрышкой вместо короны ферзя на голове, сама я вожу, мягко выражаясь, весьма посредственно. Совершенно не умею маневрировать, зато обожаю гнать по шоссе, пьянящим летним ветром овеянным, я тоже бываю участником дорожного движения, я – дочь Премьер-Шофера Востока и жена, автомобильный ферзь, Премьер-Шофера Запада, иногда я тоже оказываюсь неплохим водителем.

Так вот, четвертого апреля мы с Б. ехали и ехали, и ехали, и ехали, покупали на заправочных станциях чипсы и колу, слушали музыку, и, конечно же, спорили. То дело мы оба истово любили. Уже и не вспомнить, с чего разгорелся жаркий диспут, но, стоило мужу использовать оборот «по всем каналам передают, что...», как я обозвала его жертвой СМИ. Ярлык «жертва СМИ» был столь бросок и ярок, что Б. страшно на меня обиделся, и ссора перетекла в совсем иное русло, в течение, неизменно ведущее к обрывам и водопадам, к вырыванию руля, резкому торможению, нецензурной брани в адрес друг друга (чем изощреннее и оскорбительнее, тем лучше)... В Грозном перевале мы приехали взъерошенные, раскрасневшиеся, гневные драконы плевали огнем.

В принципе, ситуация была вполне тривиальной, учитывая наши буйные и неуступчивые характеры. Через полчаса мы, по идее, должны были выкурить полпачки сигарет, посидеть для приличия с надутым видом, и, наконец, под фанфары и салюты помириться. Тоже стандартно. Всё могло бы быть так, не произойди самый бесповоротный сбой в системе. Мы приехали сюда попрощаться перед отпуском с родней Б. Его мать, соответственно, моя свекровь, пришла в неподдельный ужас от нашей локальной автомобильной междоусобицы и вызвалась сопровождать нас до Большого Города, «дабы вы друг друга не убили вообще». Свекровь села на заднее сиденье машины, и мы тронулись в гробовом молчании в обратный путь.

Тишина длилась недолго. Мать моего мужа бросилась причитать о том, какие мы непутевые, надо жить дружно, что же мы творим... То была фатальная ошибка. Плотину прорвало. Я и Б., перекрикивая друг дружку, используя самую оживленную мимику и жестикуляцию, пытались убедить теперь уже стороннего наблюдателя, третьего участника, непричастного зрителя, каждый – в своей правоте. Одеало усиленно перетягивалось добрые полтора часа во всех дорожных пробках на въезде в Большой Город, пока не треснуло пополам, пока мы с мужем, истерзанные, не обмякли на руле и бардачке, и не замолчали. Решено было все-таки лететь вечером в отпуск, ведь билет куплен и гостиница заказана, но настроение было испорчено насовсем.

Конечно же, мы повалялись недельку на солнышке и покупались в море, посетили музеи, съездили на экскурсии, набрали сувениров, сфотографировались в обнимку и, в общем-то, нормальные, вернулись домой. Но трещина пошла глубже.

При каждом разногласии отныне я и Б. припоминали эту адову поездку на дачу, чудовищное и дикое поведение, поток обличений, выпаленных, вроде бы, в эмоциональном яростном порыве, но как же старательно запомненных! Мы возвращались по кругу к четвертому апреля, топчась на одном и том же месте, пока от нас все дальше и дальше уплывали горизонты, перспективы, совместные планы и будущие возможные радости.

Каким-то погожим майским деньком мне вдруг раз и навсегда расхотелось интегрироваться. Тесно, оковы-кандалы, цепи скрутили меня, пристегнут ремень безопасности эластичной удавкой, клетка, мало воздуха – примерно такие ассоциации вызывала у меня семья. В то время я практически завершила разбирать рукопись романа моего брата Аякса, по паспорту – Андрея, «125 RUS», отнесла ее в издательство и коротала время, разбирая по пожелтевшему от времени нотному сборнику фортепьянные пассажи на своем электропианино Yamaha NP-30, подаренным мне прошлым летом Б. Каждый вечер ходил на предыдущий: Б. приходил с работы, мы скачивали в Интернете блокбастеры, от которых меня выворачивало наизнанку, ночью я «догонялась» авторским кино в компьютере, пока муж спал. Днем я придумывала себе какие-то утопические занятия типа бросания курить с помощью никотиновых пластырей, присвоения себе идентификационного номера налогоплательщика в чиновничьих кабинетах, разведения орхидей и компаративного изучения мировых религий.

От нечего делать я принялась искать работу. Особо пристальное внимание уделяла вакансиям на должность библиотекаря или гробовщика. Подобная служба должна была дистанцировать меня от надоевшего брака, оградить благостью личного пространства в своем собственном мирке, принести спокойствие и гармонию. В то же время меня смущала невозможность социально реализовать свою нет-нет, да пробивающуюся временами (а временами выпирающуюся наружу неудобно явно) мегаломанию. Поэтому

мои поиски увенчались никем не ожидаемым результатом: решением попробовать себя в качестве стюардессы. Перспектива путешествовать и служить в прямом смысле высоким идеалам Гражданской авиации в переносном смысле окрылила меня, увлекла, поглотила с головой, вдохновила до обострения всех шести чувств.

Проходя врачебно-летную экспертную комиссию, я напрягала свое никудышное зрение до умения прочесть самые крохотные буквы нижнего ряда из настенной азбуки окулиста. Слух мой, годами пичкаемый громкими наушниками и рок-концертами, теперь улавливал малейшие нюансы в изменении звуковых частот на приеме у отоларинголога. Чтобы попасть в ряды бортпроводников, я даже стала по-человечески питаться и к моменту икс на весах врача набрала столько килограммов, что меня записали в нормальную весовую категорию. Позже, правда, я снова таяла до состояния тростиночки, носила очки на своем безобразном близоруком астигматизме и выкручивала до предела громкость на колонках, но то было уже дозволено – я прошла медосмотр.

Были психологические тесты, и проверка знаний иностранных языков, были собеседования и испытания на прочность (приехать в летный офис в аэропорт с утра пораньше – тогда мне это казалось верхом изобретательного садизма). Выбранная мной авиакомпания «Schmerz und Angst»⁴ (отличное название!) являлась ведущей на рынке воздушных авиаперевозок и заботилась не только о физическом, но и о психологическом состоянии своих сотрудников. Меня направили на учебу в середине июня. Осталась неделя на завершение старых дел. Я слушала, читала, смотрела Ника Кейва. Мне снилось, что мы летим на самолете и падаем в море, обломки металла, топливо разливается маслянистым пятном по воде. Тогда я, бесстрашная стюардесса Кристabelle (и не смейте звать меня А.Е.!), спасаю людей. Выловив детей, немощных и стариков, чувствую, что вот-вот утону сама. И тогда Ник Кейв достает меня из воды, прилетает спасательный вертолет, он вносит меня, бездыханную, на борт... Никого не могла слушать, кроме Ника Кейва, в то время. Ничего не могла воспринимать, жила предстоящей работой в «Schmerz und Angst», негодуя по вечерам на привычный некогда распорядок жизни, раздражавший с каждым часом, с каждым высказанным, нарушившим благословенный силенциум, словом все острее и острее.

Много раз задаваясь вопросом, почему я не ушла от Б. еще тогда, в мае, я оправдывала свою лень и нежелание брать на себя ответственность за столь важное решение чудовищной силой привычки. Или дуростью, которую мне было неохота даже оправдывать либо отрицать. Живем и живем. Мы продолжали с прохладцей совершать наши рассечения автомагистралей, старательно выводя улыбки на фотографиях. Посещали дни рождения мам, пап, бабушек и дедушек, пятиюродных крестных и застоявшихся седьмых вод на киселе. Иногда мы с Б. даже покупали выпить и сидели вдвоем, разговаривая. Каждый о своем, впрочем.

Не зная, куда себя приткнуть, я встречалась со всевозможными старыми знакомыми, товарищами из Альма Матер, в частности, с одной подругой, мы сидели в кафе, и я пожалела, что не поставила эпитафией к «125 RUS» сентенцию: «Этот роман был написан чернилами кальмара». Потом опять шла домой и читала «Смерть Банни Манро» господина Кейва. Мой муж не переносил Кейва, считал его не-музыкантом. Тем больше песен The Bad Seeds я перегоняла себе в плеер. Я читала «Traumdeutung»⁵ Фрейда и

⁴ Нем. «Боль и Страх»

⁵ Нем. «Толкование сновидений»

записывала в блокнот свои сны, где, помимо сцены с неудавшейся утопленницей, меня одолевала ожившая в шкафу свадебная фата, она кидалась на меня вампирским поцелуем булавочек-заколочек, с помощью которых мне когда-то удалось водрузить ее себе на голову, покрышку автомобильной царицы вместо короны ферзя.

Я спросила Б., как тот относится к моему выбору профессии, к тому, что моя деятельность будет сопряжена с некоей степенью опасности, к тому, что меня часто не будет дома. Муж сказал: «Главное, чтобы тебе нравилось, К.».

Глава 3.

Гора

*«I've been to Hollywood,
I've been to Redwood,
I'd crossed the ocean for the heart of gold.*

*I've been in my mind –
It's such a fine line,
That keeps me searching for the heart of gold.»⁶*

(Нил Янг, «The heart of gold»)

Давайте теперь поговорим о нашем географическом положении. Я просто не смогу без пунктов А, Б и пунктов всех букв далее. Итак, у нас есть Большой Город. В центре города суровой готической глыбой высится Кафедральный Собор. Его шпиль виден практически с любого места в Большом Городе, за исключением серых спальных районов с панельными многоэтажками и окраинных трущоб. Грозный каменный крест с огромной высоты неусыпно следит за давно уже потерявшейся в суете сует и погрязшей в низменных хлопотах пастве. Кафедральный Собор – наша главная гордость, его печатают на открытках, магнитиках для туристов и почтовых марках.

Выехав из Большого Города, мы уже издали на горизонте заметим земляного старшего двойника Кафедрального Собора – Гору. Гора крепко въелась корнями в самые глубокие тектонические плиты, она никогда не давала глупым автомобилистам сбиться с пути – исполинский маяк закрывал собой солнце, отбрасывая гигантскую тень на долгие километры вперед. К востоку от Горы находился аэропорт, который монополизировала авиакомпания «Schmerz und Angst», где я отныне и решила работать. На западе от Горы была наша с Б. дача, Грозовой перевал. Именно там, по дороге с дачи в аэропорт, проезжая мимо Горы, мы так кошмарно поругались в апреле.

Мы ссорились с Б. из-за любого пустяка: из-за итогов Второй Мировой, или из-за того, что кто-то назвал клюв воробья пастью. Жарче всего мы ругались на тему искусства. Кто же из нас двоих более велик и значим – этот вопрос стоял между нами даже не ребром, а глухонемым топором, крепостной стеной, вырытым рвом и страшными монстрами, охраняющими неприступный замок. Мы исступленно скандалили три года нашей совместной жизни, и после каждого приступа гнева так же неистово зализывали друг другу нанесенные в домашних боях раны, покупали дорогие подарки и клялись в вечной любви и верности. Обещали každодневно мять спинку. Но что-то надломилось с той

⁶ Англ. «Я побывал в Голливуде,
Я побывал в парке «Красный лес»,
Я пересек бы океан ради золотого сердца.

Я был внутри своего сознания –
Это такая тонкая линия,
Это заставляет меня продолжать искать золотое сердце.»

ужасной поездки перед отпуском. Надломилось настолько, что я больше не могла даже видеть нашу дачу, здоровый особняк, окруженный яблоневыми деревьями. Уже в конце мая Б. заехал на дачу навестить родителей, я же решила побродить по окрестностям и тропинка сама привела меня к подножью Горы. Широколиственный шум, хвойный шелест, редкий треск ветвей – все изначально природное пугало и завораживало меня. В голове крутилась строчка из песни про поиски золотого сердца, оригинал был написан Нилом Янгом, но мне куда больше по душе пришлась кавер-версия моей любимой Тори Эймс, визуального прототипа Миры. Ну, той самой Миры, которую я выдумала для романа «125 RUS», той Миры, которая была призвана в этот мир защищать меня и оберегать от всего дурного с плазменной пушкой наперевес. А Миры на самом деле не существовало, никто меня не спасал и не собирался, я знаю, я-то уже побывала в своем сознании – это такая тонкая линия. Это заставляет продолжать поиски золотого сердца.

Гора давила на меня. Давай, иди вперед, норовистые самолетчики ждут тебя, эй! Давай, ты будешь летать в дальние дали и совсем перестанешь бывать дома – тогда вы с Б. наконец-то перестанете ссориться, будете номинально сохранять статус мужа и жены, но совсем не видеть друг друга, а где разлука, там и тоска, а значит, никакой рутины, Кристабель, а значит, никаких споров и разногласий, вы раз и навсегда перестанете ругаться, ты побываешь в других странах, побываешь в Голливуде и в парке «Красный лес», одна, за облаками, на железных крыльях, мощнейших двигателях, разрезающих часовые пояса и отталкивающих за ненадобностью земное притяжение, а оно – самое бескомпромиссное, Кристабель, ты побываешь в своем сознании – это такая тонкая линия...

Вот что мне поведала Гора. Потом я вернулась на участок, села в машину, и мы с Б. вернулись домой, в Большой Город по главной магистрали (она всего одна – от Горы до самого Кафедрального Собора), раскрашенной рекламными плакатами, зазывными перемигивающимися витринами и сумасбродными порывами майского вечернего ветра, гоняющего птиц и собирающего причудливые конструкции из мусора возле автобусных и троллейбусных остановок. Большой Город радушно принимал нас обратно, заключал в цепкие объятия, жег наш бензин, мы ехали домой, в самый центр, на улицу имени Ротшильда, помню, как все завидовали одной фотографии: на ней мы с Б. стоим на балконе. Люди завидовали не лучезарным счастливым лицам, а тому, что с балкона открывалась чудесная панорама на центр мегаполиса – шпиль Собора покровительственно высился за нашими спинами на фото.

* * *

Двенадцатого июня я приступила к работе в авиакомпании «Schmerz und Angst». Ее владельцы и основатели, Хельга Шмерц и Герберт Ангст, по фамилиям которых и была названа фирма, и с которыми мне позднее доведется познакомиться лично, начали свою карьеру с того, что служили обыкновенными бортпроводниками. Они так подружились в рейсах, труд настолько сплотил Хельгу и Герберта, что со временем они решили вдвоем основать собственную авиакомпанию, в чем их ждал колоссальный успех – в стране они были вне конкуренции, да и на международной арене тоже. Однако, название слегка нервировало меня, как, полагаю, и всех нормальных людей тоже. Хороший слоган получается: «Летайте авиакомпанией «Боль и Страх»! Самые лучшие самолеты – у «Боль и Страх»!» Сомнительная реклама.

В нашей группе новичков было человек двадцать-двадцать пять. Все классические роли разобраны сразу: первая красавица, главный хохотун, пятерка интеллектуалов разной степени одаренности и статисты-невидимки, куда же без них. Мое твердое намерение абстрагироваться от окружающего мира и вынужденной корреляции с социумом выражали намеренно снобистское и недовольное выражение лица, никогда не снимаемые очки с диоптриями и томик любимого Кафки в руках. То и дело приходилось так или иначе упоминать о том, что в свободное от работы время мне некогда развлекаться, ибо я тружусь над рукописью своего брата – романом «125 RUS», вследствие чего меня автоматически записали в местные «творческие личности» и ждали выхода книги. В глубине души мне крайне льстило подобное внимание к собственной персоне, но внешне я продолжала отмахиваться от любых совместных попок, вечеринок и прочего веселья.

Учиться было весело. Система канализации на воздушном судне поглотила мое внимание сильнее, чем когда-то в университете эпоха художественной модальности. Мы прыгали с надувного аварийного трапа, визжа и смеясь, ковырялись в кнопках пилотской кабины на старом тренажерном самолете, учили команды, подаваемые при эвакуации, ныряли в бассейн со спасательным жилетом или боялись нырять в бассейн, выплывать и надувать жилет на воде, мы смотрели фильмы-катастрофы и разбирали ошибки летного и кабинного экипажа – все это было безумно интересно. Мы не могли запомнить порядок отсоединения трапа от фюзеляжа, и нещадно получали за это двойки, будто провинившиеся школьники, отличниками мы получали пятерки за технологию обслуживания, мы запоминали фужерчики, самопальные «кушачки» на винные бутылки, великие скрижали правил, заповедовавших обслуживать пассажиров справа правой рукой, а пассажиров слева – левой рукой. Я потеряла сон, готовясь к опросу по запланированным и незапланированным посадкам на сушу/воду, взрывным и медленным разгерметизациям, пожарам в печках, в туалетах, на багажных полках, под обшивкой, пожарам самих двигателей, черт бы их побрал, эти пожары, как теперь не бояться?! Я потеряла сон, подыскивая себе матовые пастельные оттенки лака для ногтей, увековеченные в списке требований к внешнему виду в руководстве по работе бортпроводников. Неся в своей голове манометры, кислородные маски, штуцеры, киль и закрылки, люки-выходы на плоскость крыла, угол тангажа и весь аварийный запас, я совсем потеряла сон.

Мы решали задачи, направленные на развитие логического мышления будущих бортпроводников, которые опытные преподаватели приносили нам в распечатках местной газеты под названием «X-Avia». Вот один из примеров такого ребуса: *«Стюардесса Клео уходит через месяц в отпуск, и она отдала свой паспорт в консульство для получения визы. Клео просит отдел планирования ставить ее только на внутренние рейсы, то есть не за границу. В летном свидетельстве у Клео есть допуск на следующие типы самолетов: Боинг-737, Боинг-747. Обычно она летает в долгие зарубежные командировки на огромном двухпалубном Боинге-747. Маленький по вместимости Боинг-737 рассчитан на внутренние рейсы по нашей стране, но на нем летают новички, так как самолет достаточно простой, а Клео работает в компании уже много лет. На Боинг-767, на котором летают опытные бортпроводники, и который летает по нашей стране, у Клео нет допуска. Вопрос: на какие рейсы можно планировать стюардессу Клео в течение месяца до ее отпуска?»*. И тому подобный бред. Учиться было непередаваемо весело.

На третий день в «Schmerz und Angst» я возвращалась домой через парк, и за мной увязался один молодой человек из нашего отделения. Он рассказывал страшные вещи о

том, как ежедневно добирается в Большой Город на обшарпанных электричках, забитых алкоголиками и бомжами. Как его детей не хотят брать в детский сад, а денег на взятку воспитателю у него и его жены нет. Как в детстве его мама плакала из-за того, что нечем было прокормить семью, и они ели голубей и крыс. Меня передергивало от его рассказов, я все ждала, когда же проклятый парк закончится, и думала, что в следующий раз надо попросить Б. забрать меня на машине или хотя бы прислать шофера. Мужчина рядом со мной явился из чужого, заокраинного мира вынужденных переселенцев и съемных бараков, в которых ютились сотни людей. Чтобы как-то разрядить атмосферу, я перевела разговор на тему экологии и как-то вышло, что я произнесла вполне стандартную фразу о том, что не ношу натуральный мех, потому что мне жалко животных. На что мой собеседник угрюмо отрезал: «Я тоже не ношу натуральный мех, потому что у меня нет на это денег». Парк все никак не желал заканчиваться, густые деревья закрывали от меня всё: метро, проезжую часть, и даже шпиля Кафедрального Собора здесь не было видно. Еще чуть-чуть, и я сама почувствовала бы себя беженцем, живущим впроголодь на краю земли. Мой спутник хмуро смотрел под ноги, курил вонючие папиросы одну за другой, а походка его была такой сгорбленной, будто на спине он нес всю тяжесть этого жестокого мира. Он был высок, чрезмерно худощав, кареглаз и темноволос. У него не было денег, да и нормальную работу найти – тоже проблема, это он постоянно повторял, как и то, насколько ему повезло, что взяли в «Schmerz und Angst». У него не было ни гроша в кармане, вот на что всю нашу прогулку через долгий и мрачный парк жаловался мне этот несчастный молодой человек. Его звали Е.И.

Глава 4.

I группа крови. Дантес

[Группа крови I(0) – самая распространенная на планете, ее носителями являются 45% всего человечества. Первобытный человек, обладатель первой группы крови, был охотником, часто меняющиеся условия жизни и стихийные бедствия сделали его очень выносливым, научили приспосабливаться к самым суровым условиям окружающей среды.^{7]}

*«...А вы
Ноктюри сыграть смогли бы
На флейте водосточных труб?»*

(В.Маяковский, «А вы могли бы?»)

Немного позже настоящую фамилию этого смурного молодого человека я множество раз в самых разных транскрипциях вензелями украшу на бумажных салфетках с логотипом нашей авиакомпании.

И. (срежем для краткости первый инициал) был флейтистом-канатоходцем из Степногорска. Дантес (ему всегда импонировал Граф Монте-Кристо) родился в сто пятидесятый день года, или же, в случае года високосного – в сто пятьдесят первый день. В это время солнце стоит высоко, ночи еще продолжают становиться короче, а крестьяне уже давно вспахали и засеяли поля. Босые дети, худые и гибкие, словно самые свежие колосья, тоже уходят в поле, на открытый простор; после полудня же они гуляют дворами – то и дело где-то прозвенит детский смех, то и дело где-то упадет монетка. Томноokie девушки ближе к закату спускаются к стоячим озерам, поросшим желтыми цветами – там, у кромки тихого омута они смотрят в мертвую воду и учатся ясновидению. Вот что обычно происходит в сто пятидесятый день года, когда на свет появился Дантес.

У него был перебит нос, отчего дыхание было шумным, как встречный норд-вест, и тяжелым, как мое пальто. Интонации его были столь же тяжелы, неповоротливы и топорны, но почти всегда ровны. Голос его был очень низок, особенно когда он произносил вслух различные аббревиатуры. Это получалось у него лучше обычных слов, потому что он никогда не умел тянуть гласные, однако, со временем немного научился этому у меня. Говоривший по большей части глупые мелочи, его низкий голос и разбитое, порывистым сквозняком пролетавшее сквозь наспех сросшиеся после битв-боев ребра, дыхание всегда обеспечивали хорошую погоду – каждый раз, когда он открывал рот, небо становилось ясным, кристально чистым, прозрачным до самой сердцевины; но, стоило ему хоть на мгновение задуматься, как на хрустальный свод тут же набегали сначала серые кружевные облачка-призраки, а затем и вовсе суровые тучи, до отказа набитые водой, целебным дождем, который, тем не менее, упорно не желал окатить наши выжженные солнцем улицы, с горячей макушки и до расплавленных подошв, вот уже которую неделю подряд.

⁷ Здесь и далее – скомпилировано по материалам из статьи Н.Барановой, посвященной изучению характера человека по группе крови.

Человек, о котором я пишу, был смугл и темноглаз, одна радужка треснула и пролилась медово-смоляным пятном на белок глаза, он дышал глубоко, и на каждый его вдох приходилось по тысяче смертей от удушья!... Я же на момент нашего знакомства, исходя очередным приступом, кашляла в платок, и выворачивала его так, чтобы никто не видел пятен крови из моего изъеденного хворьями горла.

И., человек с невероятно низким голосом, управлял не только погодой, но всем воздухом и эфиром в целом. Его легкие, эти меха непрерывного действия, вдыхали неимоверное количество табачного дыма, дешевых папирос со времен его военной службы и, много позже, - вишневую пропитку моих самокруток. Его легкие выпускали в мир все двенадцать нот во всевозможных причудливых созвучиях и диссонансах – в юности он мастерски играл на кларнете и других духовых инструментах.

Они неслись, его отрывистые твердые согласные, размежеванные свистящими вздохами сломанной носовой перегородки, наружу, в мир людской, в этом невообразимом извечном нарастании динамики – каждый произнесенный им слог стремился достичь своей кульминации в многогранном звуковом спектре, этом вместилище оттенков не для зрения, но для слуха. На покинутой родной земле он, бывало, уходил в степи, и все стороны света обветривали его природной мощью, тогда как Большой Город, наоборот, выплевывал его за ограду, отвергал, - Город был стабилен, а человек, о котором я веду речь, не был спокоен ни одного мгновения.

На войне он поплатился только сломанным носом, что впоследствии превратилось в эту горбинку «бывалого» на переносице. Его белая накрахмаленная рубашка с отутюженным воротником по строгости своего вида могла сравниться разве что со шпилем Кафедрального Собора, но, по сути, была таким же инстинктивным отголоском пресловутой армейской выправки.

Сказать, что он был беден – это ничего не сказать. Он был нищ, сдавлен стенами материальных трудностей, опутан цепями долгов, но при этом сохранял ко всему вышеперечисленному завидный иммунитет, имя которому – смирение и равнодушие, маскированное под фатальное «нести свой крест». У И. была первая группа крови, отрицательный резус-фактор, следуя теории о происхождении человечества, можно сказать, что он был *материей в чистом виде*, незапятнанной пока никакими извращениями эволюции, девственной и абсолютной *материей*.

Он играл на флейте и ходил по басовой струне, натянутой в ярмарочный день от шпиля Кафедрального Собора до какого-то далекого столба у подножья Горы. В праздники он, бывало, получал много денег от собравшихся внизу зевак, Дантес пересчитывал монетки, складывал их по стопочкам, флейтист-канатоходец из Степногорска, в дни народных гуляний он видел сверху весь Большой Город, но вечером все так же спешил на свои пригородные поезда, чтобы успеть, чтобы не ночевать на вокзале или на улице, паспорт и бумажка с регистрацией всегда при нем, флейта и тяжелое дыхание, успеть бы на паровоз («я *зависим* от электрички»). У него было двое детей от двух браков, служба в армии, грандиозные переезды из страны в страну и скитания по городам и весям. У него было всего три галстука – в одном он женился первый раз, в другом – второй раз, и третий – форменный галстук авиакомпании «Schmerz und Angst».

Когда мы познакомились, ни один из нас не хотел ходить в магазин вместе с коллегами в обеденный перерыв, чтобы потом сидеть на лавочке и всей толпой есть бутерброды, да жаловаться на невыносимую жару. Мы стояли у кофейного автомата, курили, он называл комнаты для массовых собраний «кабинеты», я – «аудитории». Мы ходили по парку

теперь каждый день, мы говорили о чем угодно, но всегда на острие, на границе, на тонкой линии полного восприятия-принятия и любознательного интереса по отношению к «другому миру». Я рассказывала ему про университет, он мне – про армию. Я – про наши с мужем путешествия и свои муки творчества, он говорил мне про детей и про то, сколько денег нужно для того, чтобы прокормить семью.

Нам с Дантесом очень нравилось позиционировать себя скептиками по отношению к окружающему миру, одним из самых часто употребляемых им словом в то время было «логично», а моим – «рационально». Так неслись часы, пока Дантес всегда руководствовался логикой, а я во всем искала рациональность. Еще любимые обороты: «мы взрослые люди», «надо головой думать потому что!», «если у них мозгов нет, что поделывать...», «рассуждай логически!», «ну, если использовать метод дедукции, то получается, что...», «(имя) выносит мне мозг! Сколько можно мне мозги вносить?» и все в том же роде по всем ассоциациям из серии голова-мозг-трезвомыслие-холодность-беспристрастность суждений, а также нивелирование всего эмоционального как признака незрелости, et cetera.

Вот так мы с И. стали лучшими друг для друга собеседниками.

Опаздывая, Дантес звонил мне и просил сообщить руководству, что он задерживается. На вопрос, где он территориально, И. шутил: «В окопах Сталинграда», на что я моментально реагировала: «Так дойди же скорее до Берлина, остальные все давно здесь». У кофе-автомата мы пили преступно отвратительный латте из пластиковых стаканчиков, которые я называла Граалями. «Хочешь Святой Грааль?» означало предложение пойти взять кофе. Потом магнетизм сакральной чаши распространился на все емкости с водой, протягивая мне бутылку минералки, Дантес торжественно провозглашал: «Грааль!» В здании с исполинской надписью «Schmerz und Angst» на крыше, внизу, в коридорах стояли кулеры с водой, холодной и горячей на выбор, однако, ввиду набирающей обороты июньской жары, бутылки в кулерах убывали с завидной быстротой. Замученные, мы с И. липли по стенам учебного филиала, пока не нашли подсобку, с которой двадцатилитровые канистры с питьевой водой в темноте громоздились друг на друга. Тогда он указал на них рукой и вымолвил первый свой чудесный неологизм: «Вон где *граалечки* стоят!»

На ставших мерзотно долгими выходных, помню, валяясь в машине, пока мой Б., сжимая в руках скипетр-руль, пытался одолеть растянувшийся на десятки километров Большого Города затор из-за одного очень вредного светофора, я крутила в руках карту автомобильных дорог, и смотрела на топографическое изображение пристанционного поселка, где живет Дантес. Чужие, невиданные земли зачаровывали меня, в те края ходили электрички, эти железнодорожные гробы, там стояли ларьки с «пойлом», там трудно найти работу, там нужно выживать, ох, как выживать! В цепочке, где первое звено – выживать, второе – жить, и последнее – реализовываться, я и Дантес плакали о диаметрально противоположных вещах. Мне не хватало реализации, большей востребованности морскими слезами и выплюнутой кашлем кровью написанных текстов, ему же – финансовой надежды убить хотя бы день завтрашний, выжить сегодня и дожить до утра. Но в целом общая печаль, разная печаль, разноразрядная, но такая однозначная печаль невидимым, прозрачным, но крепко-цепким суперклеем сблизила меня и Дантеса всего за какие-то ничтожные пару недель. Мы были не просто идеальными собеседниками, мы были сшитыми половинками одного мозга (Nota bene: мозга, а не сердца!), собратями по разуму, связанными пуповиной неудовлетворенности этим миром обостренного художественного чутья и закаленного в жизненном опыте

цинизма, мы были взрослыми людьми с холодным интеллектом, не могущими налюбоваться друг на друга, на воплощение идеального самого же себя – так, по крайней мере, нам совершенно искренне виделось и именно в это нам совершенно честно верилось.

В день рождения жены Дантеса мы вдвоем решили выпить пива после напряженных трудовых часов.

Тогда, прежде чем лобового столкновения страшным по мощности удара объятием впервые соприкоснутся наши белые воротники и черные волосы, я произнесу полурастерянно-полураздасадованно: «О черт!» А спустя некоторое время дома открою блокнот и сделаю в нем следующую заметку: *«28 июня. «В этом нестерпимом пожаре» между мной и им, обоюдно зажатыми в тисках наших тихих семейных гаваней и отчаянно изголодавшихся по любой феерической новизне, достаточно одной спички».*

Глава 5. Зеленые яблоки

*«Ленивой лани ласки лепестков
Любви лучей лука
Листок летит лиловый лягунов
Лазурь легка
Ломаются летуны листокрылы
Лепечут ЛОПАРИ ЛАЗОРЕВЫЕ ЛУН
Лилейные лукавствуют леилы
Лепотствует ленивый лгун
Ливан лысейший летний царь ломая
Литаавры лозами лить лапы левизну
Лог лексикон лак люди лая
Любовь лавины = латы льну.»*

(Д.Бурлюк, «Лето»)

Кристабель – к Дантесу:

Нет, это ужасное слово я не буду говорить. Когда ты его сказал, я ответила: «Не говори глупостей». Когда ты говоришь, что любишь меня, я отвечаю, что ты говоришь глупости.

Кажется, я люблю тебя за то, как ты конвульсивно дышишь, как эксталично лепечешь и не помнишь потом, что за слова и в каких децибелах, я люблю тебя, когда твой ясный взгляд стекленеет, и ты ничего не можешь соображать, я веду тебя за руку, как на поводке, и говорю, а если там - ад и преисподняя, ад и пытки со смертью, ты провалишься, и ты проваливаешься, к чертям на сковородку, я хохочу тебе в лицо, я говорю: «Попроси еще раз, ты недостаточно хорошо просишь меня». И ты, уже сгоревший в аду за всё, с невозможно остекленевшими мутными глазами, ты говоришь: «Умоляю, Кристабель, умоляю тебя, Кристабельхен». Я отвечаю: «Тогда верю»; ох черт, когда ты смотришь на меня, когда я могу разломать тебя, разбить вдребезги, я могу взять тебя и разорвать в клочья, когда ты настолько беспомощнее не бывает, с моими комплексами и диктаторскими замашками, да, таким я люблю тебя больше всего.

И не хочется, да. Так обоюдно не хочется есть, спать, выходных. Как смешно, если так случается, когда тебе уже столько лет, и кажется, свой, пардон, ушат дерьма в этой области уже давно получил гигабайтом жизненного опыта по лбу. Твоя фамилия, was ist ihre Vorname?⁸, твою фамилию я люблю больше всего, а ты, забавный, сначала подумаешь, что я примеряю ее на себя, боже упаси, в моей-то фамилии есть даже скрипичный ключ – в знак того, что я такая рок-звезда, ты улыбнешься, а я надену темные очки. Когда я тебя ненавижу (когда не вижу, дома) – твоя фамилия увязает оскоминой на зубах, такая несклоняемая, неспрягаемая, просит твердый знак в окончание. Я скажу, что все твои однофамильцы – никто, ибо только у тебя одного она заменяет имя.

Закончили в пять, разомкнули объятия – половина восьмого уже. Ты говоришь, что отсчитывал последние пятнадцать минут на учебе так долго, а тут время летит быстрее всех истребителей. Я записывала твои фразы урывками в своем блокноте, и там же, в

⁸ Нем. «Как ваша фамилия?»

начале листа, тогда же сделала пометку-обращение: *«Извини, если пишу это, вдруг потом не найду, где вспомнить все в деталях»*. И сейчас печатаю по блокноту, про фамилию, которая на самом деле твое имя, такая нелепая и просящая себе твердый знак божественная фамилия!

И рубашка. Накрахмаленная. Пахнет утюгом и стиральным порошком. Когда ты целуешь мои пальцы, я убираю их – они, должно быть, такие грязные. Когда я целую твои пальцы, ты убираешь их – они, должно быть, такие грязные. Когда мы говорим, мы говорим, так быстро перенимая друг у друга лексикон и интонации, посмотри, какая я смешная, если бы не ты, или ты, но со стороны, или ты, но если бы не любил меня так же безумно, ты, наверное, глядя на меня такую сейчас, просто умер бы от смеха.

И мы оба такие худые, мы все мысли договариваем друг за другом. Последний раз ты ел позавчера, я могу не есть вообще, и непонятно, откуда берется столько сил: просыпаться каждый день в несусветную рань, чтобы нестись, сбивая прохожих, на полусогнутых идти до ближайшей очередной (какой тысячной по счету?) лавки, и можно хохотать, можно рыдать от счастья, можно зарываться друг другу в плечи еще немного, еще сорок минут, до начала рабочего дня.

Ты сказал, что никого никогда так не любил. Я ответила не помню что. Я спросила, нет ли под обшивкой сознания дебильных фантазий том, что у них всех всё заканчивалось скукой и привычкой, а мы с тобой – особенные, мы – боги, мы бы провели пешком через Анды тех несчастных, живших в горах в разбившемся самолете. Нет ли такой мысли, что я – возможно, и есть та единственная, что у нас-то точно все будет по-другому.

И ты сказал. Твой взгляд опять стал таким, который мне больше всего нравится – остекленевшим. Ты сказал, что до последнего не хотел этого озвучивать. И если бы ты мог быть, хоть в самой бредовой идее, тем самым единственным для меня, я-то у тебя давно единственная. Та самая. Те самые, кого искали по миру и никогда не находили. И что у нас точно все было бы по-другому.

Мы встретились под часами, до этого ты сорок минут смотрел на мои окна в нашем с Б. стеклянном дворце на улице имени Ротшильда. В аэропорту мы купили дорогой и вкусный латте. Мы были андеграундом – в джинсах и футболках, в кедах, никакого дресс-кода, такие нереально худые. После занятий впервые ели вместе. Я ела греческий салат. Ты ел пиццу и наедался одним кусочком. В зале ожидания ты сказал, что больше нет ни имен, ни фамилий, ни года, ни людей, а есть только мы с тобой как одно целое, потому что мы с тобой и есть одно целое, и это лето. И ткань, как нам идут любые ткани, и жара, духота, свалившиеся волосы, как это все прекрасно.

Ты сказал, какой капец, когда теряешь контроль над собой. Когда знаешь, что любовь а) умирает; б) превращается в дрянь; но не можешь перестать лаяться. Ты сказал, мы влипли.

Мы смотрели друг на друга, пока ели, пока вытирали лоб в душном самолете, ехали, как мялся воротник, как пачкались глаза. Я сказала. Ты сказал. Все было одно и то же, что бы кто из нас ни говорил – мы говорили одни и те же вещи.

Ты спросишь меня, какой я группы крови, и на мой ответ скорчишь рожицу: «Ох, аристократия!». Тогда я, приложив руку ко рту, изображу полуиндейца-полунеандертальца, намекая на первых обитателей земного шара с первой группой крови. И я решу купить в автомате на перемене шоколадку. Только пружинка заела, и шоколадка не выпадает в окошечко. Тогда ты подойдешь к автомату и потрясешь его немного, чуть не опрокинув на себя, и я получу свою шоколадку. Правда, пока ты будешь раскачивать

автомат, я со смехом умозаключу вслух, что, дескать, вот они, методы добывания пищи у представителей первой группой крови. Ты подкинешь в огонь еще немного дров, для полноты картины, «чтобы мой образ у Кристабель сложился еще более полноценным», и покажешь удостоверение, эти водительские права на трактор, или что-то подобное, очень забавное и сельскохозяйственное.

Я изрисую твою тетрадь краткими резюме: «Monsieur Dantes, geboren am 1 Juni in Stepnogorsk»⁹. Буду называть Степногорск Штепногорском. Ты подаришь мне ручку, голубую с серебряными звездочками, моего любимого цвета и орнамента, она и писать будет тоже блестящими. Ты стырил эту ручку у своего малолетнего сына, стыдно!

Когда мы признаемся что совместная трапеза – это так интимно, вдруг кто-то из нас сможет разлюбить, увидев, как другой ест? Пицца с греческим салатом топят айсберг смущения, кажется, мы даже не так уродливы, пережевывая еду, сидя за одним столом забитый тестом рот напротив рта с оливками. Я цепляю одноразовой вилкой фетаки, угощаю тебя, а потом ты говоришь, что обожаешь сладкие сыры, такие, например, как «Гауда». Я думаю, вот мерзость, они такие невкусные. Зато я люблю колу, ты говоришь, что она вредна для здоровья, и что, например, суп надо есть хотя бы раз в неделю, «это полезно!» Боже мой, да сколько тебе лет, чтобы так трепетно относиться к желудку, Монсьер Бортпроводник? Я пью колу со льдом литрами в картонных Граалях придорожных закусочных, в банках емкостью 0,33л, в бутылках и даже дома из керамической кружки – пузырьки в желудке помогают обмануть чувство голода. Тебя это *изумляет*. Ты жарешь мясо и любишь (о, ужас!) сало, а я – вегетарианка, но одно нас уравнивает. Горький шоколад. О, да вы гурман-ценитель. Я спрашиваю, пробовал ли ты горький Lindt с апельсином или с перцем. Ты удивляешься, что кто-то придумал смешать шоколад с перцем, вот как любопытно! Ты опускаешь глаза и говоришь, что вообще не ешь Lindt, так как он – дорогой. Я не понимаю, что за беда такая: этот шоколад тебе не по карману, но ведь он стоит вовсе не много! Ты объясняешь, что, бывает, когда есть свободная денежка, раз в пару недель можно купить плиточку (название марки). Она стоит как одна пятая плитки Lindt'а. Что за бред, я в притворном ужасе отшатываюсь от тебя: «И., вы меня пугаете!» Ты пожимаешь плечами: «C'est la vie». Селявикать ты тоже недавно научился у меня, так же, как и перехватил термин «трюизм».

«Трюизм» нас одолевает вместе с диким хохотом после учебы. Мы придумываем особые правила прононса этого слова. Так, надо поднять подбородок как можно выше, повернуть лицо слегка в сторону, поднять брови, сжать губы, выкинуть манерным жестом вперед правую или левую ладонь и, закрыв глаза, протянуть «трюизм!», очень желательно при этом картавить и пылать восторгом.

Мы смеемся так заливисто, и приводим такие тезисы себе в оправдание, что любой адвокат сошел бы с ума от зависти. Мы обвиняем самих себя сатурнианскими прокурорами на Страшном Суде. Холодная вода из кулера в пластмассовый Граальчик, его можно растянуть на весь день, с восьми утра до пяти вечера, а потом будет путь домой через парк, я поеду домой, ты – к себе, на своих зеленых пригородных электричках, меня рассмешат названия мест, в которых ты живешь, я сложу их в стишок, ты поразишься моей гениальности, тебя совсем не рассмешит название улицы, на которой живу я – на улице имени Ротшильда, ты во всем видишь издевательства над твоей финансовой несостоятельностью, и я пошлю тебя к черту с твоими домыслами, мы возьмем ладонь в

⁹ Нем. «Мсье Дантес, первого июня рожденный в Степногорске».

ладонь и машинально обернемся назад, чтобы никто не шел следом, мы пойдем купить воды или сигарет, или еще чего-то в ларек со словоохотливой тетенькой-продавщицей, она будет шутить с нами, потом мы дотащим набранное богатство до лавочки напротив детской площадки, песочница порывом ветра засыпет мои босоножки, я поморщусь, ты улыбнешься, мы сядем на скамейку, я достану из сумочки яблоко.

Я приносила с собой на занятия зеленые яблоки. Единственное, чем можно было перекусить в такую жару. Я откусывала первая, в обеденный перерыв, и протягивала руку, как Змей Еве, тебе это яблоко, Библию вспомнил ты, я же тащилась по яблокам, потому что стянула свой рокзвездный имидж с Белоснежки, а яблоко – ее фетиш, но ты все равно говорил про дьявола. О том, что я попаду в ад. Я спросила, куда же ты тогда попадешь. Ты ответил, что ты давно уже там, что ты виноват, что ты будешь ждать меня на сковородке, я рассмеялась, сковородка – это и есть Большой Город в плюс сорок по Цельсию, как сегодня, например. И ты закончил эту шутку за меня. Мы кидали в урну возле лавочки яблочные огрызки.

Становилось лучше. Забыла о том, как когда-то каждое утро начинала с ложки яблочного уксуса, чтобы подавить аппетит, чтобы похудеть, чтобы не хотеть есть. Теперь стала кушать яблоки прилюдно, исправлялась, становилась лучше. Сидя на лавке и хрумкая яблоками, твое лицо на моем плече, я запрокинула голову и посмотрела на небо, аквамариновое, свежее. И небу тоже улыбалась: братик Аякс, я нормально питаюсь. Братик Аякс, у меня больше нет проблем с едой.

Я называю весь этот период «яблочным томлением», что звучит пошлятиной, но очень соответствует моменту.

Глава 6. II группа крови. Алоиза

[Группа крови II (A) преобладает среди европейцев, в общем же ею обладают примерно 35% людей. Новые условия жизни (объединение в общины, развитие земледелия и скотоводства) привели к генетической мутации крови, появился человек, способный жить в коллективе, подчиняться общепринятым нормам, планировать свой труд и владеть собой.]

*«...Да не в лесу родилася,
Не пеньям я молилася,
Не много я спала.
В день Симеона батюшка
Сажал меня на бурушку
И вывел из младенчества
По пятому годку,
А на седьмом за бурушкой
Сама я в стадо бегала,
Отицу носила завтракать,
Утяточек пасла.
Потом грибы да ягоды,
Потом: "Бери-ка грабельки
Да сено вороши!"
Так к делу приобвыкла я...
И добрая работница,
И петь-плясать охотница
Я смолоду была.
День в поле проработаешь,
Грязна домой воротиться,
А банька-то на что?
Спасибо жаркой баенке,
Березовому венчику,
Студеному ключу,-
Опять бела, свежихонька,
За прялицей с подружками
До полночи поешь!»*

(Н. Некрасов, «Кому на Руси жить хорошо»)

Астрологическое созвездие Рака покровительствует домоводству, ведению хозяйства, материнству, витью гнезда и созданию уюта, под этим знаком родилась Алоиза (многократные переливистые «А»!), жена Дантеса. История уходит корнями в исконно некрасовские этюды – отец-алкоголик, побои, некому воспитывать, неполное среднее образование, аборт и, как следствие, психотравма, уход любимого в армию и работа официанткой в кафе на железнодорожной станции.

Тут случается самое важное для сего повествования событие. Дело происходит в одном из глухих поселков за пределами Большого Города, где Алоиза родилась и прожила всю

свою жизнь. Одним поздним вечером в кафе на станции заваливается ватага пареньков-парубков с завода. Ребята с завода бравые и бойкие, охочи до ласк и пристанционных вакханалий (но лишь настолько, насколько позволит скромный бюджет рабочего). Так Дантес-с-завода знакомится с Алоизой-официанткой, и они становятся счастливой парой. Разделенные несколькими остановками одного направления, Дантес и Алоиза штурмуют электрички, у них общая компания друзей, они выезжают на озеро, на шашлыки, на пиво, на гулянки!.. В веренице празднеств юбилеев, свадеб и очередных проводов в армию кого-то из знакомых и развивается роман первой и второй групп крови, материя теперь не одинока, теперь к материи присоединяется *ремесло*.

Ремесленница Алоиза очень вкусно готовит говядину, и еще вдвоем они пекут многоярусный торт, ожидая прихода гостей дорогих, ставят на стол водку и апельсиновый сок, бутерброды со шпротами и маслины без косточек в жестяной банке. Период безумной страсти сменяется не менее блаженным этапом тихой одомашненной стабильности. Одним кислотным пятном разбавляет идиллию лишь гастроль И. по местам боевой славы, где коварные соблазнительницы прошлых жизней вводят-таки его в искушение, но возвращается он, тем не менее, к Алоизе, добрым друзьям и скотской, ибо плохо оплачиваемой, работе заводского поданного. Материнские инстинкты Алоизы расцветают пышным цветом желания помочь возлюбленному: она даже предлагает перевезти к ним его дочь от первого брака, живущую в городке еще более далеком от эпицентра глобуса, так как ребенок – это всегда радость. Дантес лениво отмахивается и вяло бормочет что-то в ответ.

Начинается очередное лето вечеринок отдыха от промазученных трудовых будней, и, отпраздновав на заре июня день рождения И., Алоиза спешит к бывшему имениннику сообщить прекрасное известие о своей беременности. Тот лениво отмахивается, в дело вступают слезы и угрозы, наконец, решение принято. Годы спустя Дантес будет рыдать у меня на плече на всех лавочках всех парков Большого Города, что он, дурак, «не дождал» ее тогда, что ребенок никому не был нужен, а Дантес, «будучи человеком порядочным», женился, и горе теперь ему, несчастному! Тогда уже будет мой черед скептически хмыкать, но факт остается на своем месте: в сентябре, порядочный человек Дантес и находящаяся на четвертом месяце беременности Алоиза, детки электричек, детки достоевщины, сочетались законным браком все в той же деревеньке неподалеку от железнодорожной станции. Зимой следующего года у них родился сын.

Связавшись со мной, а точнее, увязавшись по уши в меня, И. стал *стыдиться* своей жены. О, какие глупые картинки она оставляет ему в телефоне! Плачущие ангелки с окровавленными сердцами, какое мещанство! Она пишет третьей буквой в слове «жуткий» Д, и Дантес, закатив очи долу, разворачивает мне дисплей своего мобильного. «Эта безграмотная крестьянка» Алоиза отходит на второй план и однажды даже получает ни за что ни про что задумчивую мысль своего мужа, высказанную, однако, не ей лично, а мне: «Да кем бы Алоизхен вообще без меня была? Прибарной шалавой, как раньше? Да я ее вывел в люди, женился, как приличный человек...» Дальше начинался излюбленный мотив.

Изменившийся до неузнаваемости Дантес, порядочный человек три года спустя, сетует на то, что не может вытащить жену из дома – ни кинотеатры, ни путешествия ее не привлекают. А он, воспрянувший, наконец, от летаргического сна, сыпет немецкоязычной терминологией и слушает Шопена, на что испуганная Алоиза с утра вопрошает супруга: «Ну ты же от меня не уйдешь?» Они смотрят кино «Красный жемчуг любви», на которое

Дантес следующим днем плюется при мне, со мной он смотрит «Малхолланд драйв» Дэвида Линча, и его хозяйшка-женушка, падает в пропасть. Я предлагаю ему сводить ее в музей. На выставку. В галерею. Да что угодно еще! Дантес отмахивается теперь уже от меня: «Кристабэльхен, ты не знаешь, что это за человек. Всё бесполезно. Это всё было проклято изначально. Только я во что-то надеялся, чего-то хотел... Я ведь всё для нее делал. Женился, как порядочный человек...» Репризы и рефрены снова. Алоиза покупает вино и готовит ужин при свечах, Алоиза посещает салоны красоты и посылает муженьку похотливые сообщения. Но все не так-то просто. Дантеса больше этим не проймешь. Таким апокалиптически жарким летом И. открылась истина – вступив в два брака и имея двоих детей, его внезапно осеняет, что именно ему всегда требовалось в жизни. И имя этому – интеллектуальный оргазм. Красный жемчуг любви, этот смиренный символ покоя и тепла, любимое ожерелье американских домохозяек пятидесятих годов, одним рывком срывает с шеи Алоизы мой Дэвид Линч, с его Твин Пиксами, Малхолланд Драйвами, Шоссе в никуда и прочей авторской тарабарщиной. Дантес хочет зазеркалья бесконечного символизма, он жаждет художественной модальности и у него сносит крышу, когда я читаю Генриха Гейне на немецком. Дантес впадает в интеллектуальный экстаз и не хочет выныривать, даже когда запасы кислорода практически на нуле. Возвращаясь в мир классно пожаренной говядины, он хныкает, что всё вдруг становится черно-белым, блеклым и тоскливым.

И здесь мы оба упускаем из виду главный подвох. И. *хочет* арт-хауз, кубофутуристов и орден восточных тамплиеров, а я этим *живу*. Я живу синими ключиками Дэвида Линча и Гермесом Трисмегистом. А Дантес, в свою очередь, *живет* выездами на шашлыки с приятелями, а также коклюшем их сына и остальными детскими болячками.

Алоиза страдает. Ничто не причиняет большего страдания, как созерцание того, что сезонами принесенной на лапках пылью строимые медовые соты вдруг рушатся, словно карточный домик. Крапом вверх карты разлетаются по столу, а Дантес продолжает вытаскивать из рукава одного джокера за другим. Она носит блузку с леопардовым орнаментом! Вопиющая безвкусица! И – *это уже интереснее* – как я мог этого не замечать раньше? Бедный, бедный Дантес, всё, чего он хотел – это нормальная домостроевская ячейка общества, он же не виноват, что Алоиза так внезапно оказалась глупой и необразованной курицей? Я спрашиваю его, почему, если его это настолько бесит, не стоило бы обратить на это внимание раньше. Вразумительного ответа не следует, я закурываю «Мальборо». Несчастная Алоиза курит дамские ароматизированные сигареты и даже не подозревает, что далеко-далеко, в Большом Городе, ее даже за это нещадно костерит дорогой супруг.

Выйдя из декрета, она устраивается продавщицей в мебельный магазин одной фирмы, совладельцами которой являются родственники моего мужа Б., великие мебельные магнаты. Директор придирается к Алоизе по пустякам, она расстраивается, у нее аллергия и надо делать уколы, вот уж действительно, беда не приходит одна. Дантес, стреляя у меня «Мальборо», продолжает размышлять вслух: «Вот она болеет... А мне даже не жалко. Просто не хочется ее видеть, и всё. Но мне жалко ее бросать, кому она нужна такая? Если бы у нее было какое-нибудь уродство, я бы ее, понятное дело, не бросил, а так – что терять?» О Дантес, окрыленный поэзией немецкого экспрессионизма, расправивший гордые крылья и поднявшийся над обывательской суетой! Он верит сейчас в то, что говорит. Сегодня он будет жаться к склизким стенам тамбура и прыгать с платформы в

целях экономии, но сегодня он – Творец собственной судьбы, Демиург, не материя, но чистый дух, утонченный и непонятый убогим миром художник.

Ближе к апофеозу всего Алоиза, оказывается, еще и внешне его больше не устраивает. Ни тебе похудеть после родов, ни прическу сделать. «Сделала она себе химию и в рыжий покрасилась – было прикольно. А потом все это отросло, она волосы в хвост соберет, как у кобылы и ходит. Почему бы не изменить прическу, чтобы мне понравиться?» У меня уже нет подходящих ответных реплик на эти стенания. «Послушай! – говорю я Дантесу, - какая разница, в хвосте волосы или распущены? Рыжие или русые? Ведь ты принял человека таким, какой он есть давно, смысл сейчас жаловаться на однообразие?» И, немного поразмыслив, добавляю:

- Есть вещи, которые ты либо принимаешь, либо нет. Мы с Б. никогда не станем дергать друг друга на тему причесок. Это личное дело каждого. Но есть вещи, которые ты в силах изменить, если тебе все так обрыдло.

- Например? – интересуется Дантес.

- Например, твоя жена носит темные очки со стразами. Эти очки – преступление против хорошего вкуса. Подари ей другие очки, дорогие и дизайнерские.

Моя резолюция явно разочаровывает Дантеса. Сегодня даже мне не понять его тонкую душевную организацию.

- Тебе не понять этого, Кристабель, - горестно вторит он моим догадкам, - какая разница, какие очки она носит? Пусть она хоть панталоны носит – главное, чтобы мне мозг не выносила!

Я уже открываю было рот, чтобы выкрикнуть: «Хватит выкручиваться! По-моему она тебе мозг уж точно не выносит!» Но почему-то я молчу.

Глава 7.
«В этом нестерпимом пожаре...»

«You are personal Jesus.»¹⁰

(гр. «Depeche Mode»)

*«Мы – два грозой зажженные ствола,
Два пламени полуночного бора;
Мы – два в ночи летящих метеора,
Одной судьбы двужальная стрела.*

*Мы – два коня, чьи держит удила
Одна рука, - одна язвит их шпора;
Два ока мы единственного взора,
Мечты одной два трепетных крыла.*

*Мы – двух теней скорбящая чета
Над мрамором божественного гроба,
Где древняя почитет Красота.*

*Единых тайн двугласные уста,
Себе самим мы – Сфинкс единый оба.
Мы – две руки единого креста.»*

(В.Иванов, «Любовь»)

Дантес – к Кристабель:

После бассейна (тренажер «вода») рядом с аэропортом я расплакался. При тебе. Сказал вслух: «И., ты в дерьме по макушку!» Я сказал, что никто, кроме тебя, мне не нужен. Никого не любил сильнее за все свои прожитые годы.

Жара пламенила тяжелые городские шатры. Черный асфальт превратился в зыбкое опасное болото. Ледяная минералка и фруктовый сорбет исчезали с прилавков практически со скоростью мысли. Все дружно на чем свет стоит кляли прогнозы метеорологов, и погода, «это чудовищное пекло», стала самой обсуждаемой темой.

Я уйду от нее. Ты уйдешь от него. Мы свалим в другую страну, мы переедем. Там на лавке я плакал. Я сказал: «Это последнее». Ты сказала: «Такое бывает раз в жизни». Когда это не страсть, это не влюбленность, это ЛЮБОВЬ, слышишь, Кристабельхен?!? Двенадцатого июля в десять утра мы решили валить. Или подождать. Потому что будем жалеть при любом исходе. Я расплакался. Мимо проходил какой-то мужик, курьер, нес что-то куда-то. Он уставился на меня. Тогда я, шмыгнув носом, повернулся к тебе и сказал: «Вот видишь, мне даже на него похрен. А что, когда плачешь, сопли еще текут?»

¹⁰ Англ. «Ты – личный Иисус»

А все потому что ты сказала, что, если бы была моей, то подарила бы мне профессиональный фотоаппарат или бас-гитару. Я играл на басу в семнадцать лет, это было еще в прошлом веке. Ты говоришь, надо пестовать духовную сущность человека, развивать его таланты. А мне всегда дарили одеколоны или носки. Они меня никогда не понимали. Ты видишь меня, понимаешь меня, ты режешь меня, разрежь меня.

У нас с тобой было полотенце, шоколадка, завернутая в предусмотрительно умыкнутую мной из учебного филиала корпоративную газету «X-Avia» и бутылка шампанского.

После бассейна мы поехали на окраину Большого Города, туда, где не видно шпиля Кафедрального Собора, где лишь куцые деревья и безликие жилые массивы. В безымянном парке открыли шампанское и подолгу смотрели в небо. Мы оба оказались настолько тоненькими, что помещались вместе полностью на одном полотенце, при этом можно было каждому лежать на спине и разглядывать одинаковое за все эти дни небо: пустое, глухое, мутное и бессмысленное, вновь не предвещавшее никаких осадков, а только чудовищную жару.

- У нас с тобой никогда не будет ни одной общей фотографии, - после долгой паузы произнесла ты.

- Слишком много отрицания, - ответил я.

Шоколадка растаяла еще в упаковке так, что ни о каком отламывании плиточек не могло быть и речи: осторожно держа двумя пальцами обертку, шоколад приходилось откусывать зубами, да еще стараться не измазать лицо, а потом, спустя несколько секунд запивать сладкое нагретым шампанским прямо из горлышка, и эта неудобная для питья из горла бутылка шампанского, становилась все теплее и теплее с каждой минутой, с каждым пройденным метром солнца по добела раскаленному небосводу.

- Я никогда в жизни никого так не любил, - снова признался я тебе.

- Слишком много отрицания, Дантес, – ты улыбалась.

Даже яблоки никогда не хрустели так звучно, никогда листва на деревьях не выглядела более сочной, я повторял и повторял, что весь мир становится монохромным, когда ты уезжаешь домой, к нему. Может быть, мы родственники? Ведь ты говорила, что твоя бабушка из Семипалатинска, все возможно на этом свете, мы точно родственники, никто друг друга лучше не понимал, никогда. И мы любим одни и те же вещи: третьи этажи всех наших квартир, маму, глядящую нам ладошки в детстве, собирать грибы, бархатные на ощупь, благородство авиации – мы слишком похожи, Кристабель. Я боюсь себе признаться в том, что вместе мы не станем ругаться из-за бытовухи, и что рутина не сожрет нас, и ты соглашаешься, о да, о черт, как же страшно себе в этом признаться.

Я удивился, почему ты не прыгнула в воду, дитя волн, дитя морей. От тебя не ожидал, честное слово. Ты побоялась глубины, неизвестности, риска, ты сказала, а вдруг сердце от страха остановится, вылезать седой из воды что ли. Ты была в черной купальной шапочке и мужской футболке с Сидом Вишезом, отчаянно хотевшая казаться круче всех в этом бассейне. И совсем не соответствовала Сиду, солнышко, испугалась адреналина; я думал, она выросла на берегу океана, а так боится нырять, и мне стало за тебя так страшно, я поразился сам себе, так переживая за тебя там, в этой хлорированной артезианской, где ноги не достают до дна.

Мы взрослые люди, Кристабель. Любви не существует.

Скажи, что ты любишь меня.

Но я тебе все равно не поверю. Ты сама не знаешь, что несешь, мои любимые подслеповатые глазки. Ты не можешь меня любить. Мы из разных социальных слоев. Об этом я твержу и твержу, пытаюсь убедить самого себя в нестоящей свеч игре, когда мы сидим на перроне возле аэропорта и курим, и пепел падает на оценочный журнал нашей группы первоначальной подготовки бортпроводников (какого-то черта именно меня-раздолбая и назначили старостой), и прожигает обложку, а мне страшно, что за это мне влетит, но тебя это так смешит, я так люблю, когда ты смеешься, что мне, в принципе, плевать на этот несчастный журнал.

Я потеряю тебя, о Боже. Ты говоришь, скажи, чтобы ставили вместе в рейсы в нашем отделении, когда начнем летать. А мне страшно, что, если я начну рыпаться, начальство разозлится и уволит меня. Мне страшно потерять работу, но тебе этого не объяснишь. Что страшнее, потерять работу или тебя? Тебя у меня и так нет, что бы ты ни сказала, я тебе не поверю. А стоит мне остаться без денег (которых у меня нет, как и тебя), ты и вовсе исчезнешь. Ты привыкла жить в роскоши. Я ведь слышал названия супермаркетов, в которых вы с мужем покупаете продукты.

А я звеню медной мелочью в этом нестерпимом пожаре. Жена дала мне с собой влажные салфетки, я вытираю ими лицо и шею, я пью по два литра воды в день, руки дрожат на жаре. Я слышал, в вашем доме в самом центре Большого Города, на улице Ротшильда, даже есть кондиционер. Я знаю, в вашем автомобиле есть кондиционер. А я буду. В тамбуре электрички. Буду скучать по тебе до завтра. Я жалок, жалок, десять раз жалок и ничтожен, и мне нечего тебе предложить. Ты взяла меня за руку, пообещала, что, когда градусник термометра будет показывать хотя бы тридцать, и температура немного понизится, мы купим горький Lindt с апельсином или перцем, и съедим его. Ты покажешь мне жизнь. Покажи мне жизнь, спаси меня.

Мы шли сегодня из бассейна под мостом, какими-то козьими тропами. Навстречу шел пьянчуга, бездомный, в рванье. Ты шла впереди меня, и, когда вы с этим бомжом встретились на одной протоптанной дорожке, ты уступила ему место, отошла в сторону, на травку, и сказала: «Извините». Я был шокирован. Кристабель, моя принцесса, какая же ты вежливая, иногда до приторности, ты такая невозможно одухотворенная, что я переживаю. Мне страшно за тебя в этом мире, как было страшно, когда ты в футболке с Сидом Вишезом боялась нырнуть на глубину девяти метров.

Мы в ювелирном магазине, скинулись, ты подарила мне кольцо на мизинец, символ всех художников-поэтов, я тебе – браслет с сердечком. Продащица с нами намучалась, пытаюсь подобрать два украшения на одну не слишком крупную сумму денег, выделенную «Schmerz und Angst» в качестве стипендии. Твое лицо, подсвеченное отблесками драгоценностей в витрине, расцвеченное улыбкой в мгновение, когда ты произносишь:

- Все ли в этом магазинчике заметили, что у нас с тобой разные обручальные кольца?

Возьми меня. Спрячь меня. Порежь меня. Спаси и сохрани, я не хочу их видеть, мне больно смотреть на них. Ты острая и каменная, как шпиль Кафедрального Собора. Ты прохладная в этом нестерпимом пожаре. Мы вышли на оживленный проспект, увязавши подошвы обуви в гудроне, ты стала торопить меня, тебе хотелось срочно уехать домой. Я мог бы бродить с тобой, весь расплавленный, до самой ночи, меня не тянуло в свои окраины, но ты почему-то постоянно смотрела на часы, спешила, меня выводило это из себя. Ведь он возвращается в шесть, ты хочешь быть дома до его прихода, конечно!

Сегодня у нас впереди был целый день, а ты уехала уже в час после того, как исчезли тени! Вот как дурацки разбивалось сердце – у меня нет денег, у тебя нет времени.

Я выкрикнул: «Ну и вали! Езжай на вашу улицу имени Ротшильда! К вашей картинной галерее дуры Марты, этой художницы из Швабии! Я все достопримечательности выучил на вашей улице Ротшильда, пока стоял там, под твоими окнами, и пил пиво!» Ты спросила, где я взял свои часы. Их Алоизхен купила мне в переходе. «Твои часы – убожество», - сказала ты. Я развел руками – что поделать, большее не могу себе позволить. Идут, и то хорошо. Ты просто так назвала мои единственные часы убожеством, еще раз взглянула на свои Longines и засобиравалась домой. И к черту! Проваливай! На все ваши выставки швабки Мартариозы, вы же богачи! Ты обозвала меня тупым идиотищем, развернулась, ушла.

Я схватил тебя за плечо. Постой. Я совсем другое имел в виду. Я люблю тебя, эй. Не могу осознать просто, что нам не бывать вместе.

Мы так молоды, Кристабель, что все еще можно начать сначала. Но я не мог перестать реветь, какой позор! Потому что я не верю тебе. Не верю! Обманщица, тебе всё шуточки, ты режешь меня, лгунья, ты всегда врешь! Мы все еще молоды, чтобы попробовать друг с другом, без остальных. Ты киваешь головой, но я вижу твое притворство, о, прекрати, слышишь, бессердечная, ты убиваешь меня!

Тогда ты встала на колени. Голыми коленками на дорогу. Ты сказала:

- О мой божественный Монсьер Бортпроводникъ И.! Когда же вы поверите в то, что я тоже вас люблю?

И потом ты закашлялась, чертыхнулась, будто яд наружу вырывался вслед за самыми нежными признаниями. Ты достала из кармана платок, и каждый приступ дергал тебя свернутыми внутрь плечами, я так по-геройски бросился к тебе, ты сжала в кулаке платочек, в слюнях и кровищи, и еще раз отдышалась, ты повернулась ко мне с видом грандиозного одолжения:

- Чего тебе еще от меня надо? Люблю, люблю, что тебя еще не устраивает?

- О, дорогая, любимая, - еще крепче обнимал я тебя, - ты только скажи мне, что делать. Куда мне теперь идти, когда я не хочу никуда, только лишь к тебе. Спаси меня, Кристабель, реши за меня, скажи, что мне делать, пожалуйста, спаси меня...

И я заплакал еще сильнее, и не мог, не мог остановиться.

Из всех репродукторов Джефф Кристи пел свою старенькую «Yellow river». Ты попросила меня запомнить эту песню. Ты сказала, что это хорошая песенка.

"в этом нестерпимом пожаре..."



Глава 8.

III группа крови. Кристабель

[Группу крови III (B) можно встретить лишь у 13% населения земли. Новая мутация крови породила людей, умевших быстро ориентироваться в новой обстановке, изобретательных, с присущей им умственной активностью и повышенной возбудимостью, индивидуалистов.]

*«Юноша бледный со взором горящим,
Ныне даю я тебе три завета.
Первый прими: не живи настоящим,
Только грядущее – область поэта.*

*Помни второй: никому не сочувствуй,
Сам же себя полюби беспредельно.
Третий храни: поклоняйся искусству,
Только ему, безраздумно, бесцельно.*

*Юноша бледный со взором смущенным!
Если ты примешь мои три завета,
Молча паду я бойцом побежденным,
Зная, что в мире оставил поэта.»*

(В. Брюсов, «Юному поэту»)

Мои родители. Прививание обостренной эстетической разборчивости. Двумя пальцами научившись играть на пианино незатейливые зарисовки, мои тогда еще прячущиеся вниз ладони уже были обречены на щедрые горсти сольфеджио и музыкальной теории – воспитательский привет от моего отца. Стоя на береговой линии (дурное сочетание, «shoreline» мне нравится куда больше, но не хочется писать «на берегу», выкинув слово «линия», оно слишком значительно), папа, мама и Мира, которую я сама себе выдумала, мы все смотрели на море и слушали Шумана. Шуман, тот, от которого не может из книги в книгу оторваться Эльфрида Елинек, австрийская суперзвезда от литературы. Я изучала тексты австрийских писателей в университете, то и была моя специализация (которую я приписала братику Аяксу, я же сама его выдумала, так-то он давно мертв), многие и многие полотна раскидистых словес о Габсбургах, кайзерах, модерне, бидермайере и... Гофмансталь, Музиль, Шницлер, поехали далее, так, кто там?, ах да, наш покровитель Грильпарцер, не стоит забывать о Йозефе Роте, о Рильке, ни в коем случае, ни-ни, никакой пощады. За все, пусть и недолгое, время стажерских полетов в «Schmerz und Angst» меня ни разу не поставили в рейс на Вену. Хотя многие мои одноклассники побывали там по пять раз за месяц. Я никогда не летала в Вену. Хотя и боготворю Моцарта. Хотя и живу в Большом Городе Моцарта, теперь уже давно живу, и звать меня Кристабель, не смейте называть меня А.Е. – я так и не побывала в Вене, где Моцарт концертировал. И не он один.

А теперь пару слов о романтизме. О тех самым тонких запястьях, окруженных кружевами кипенно-белого цвета, о десяти нервных пальцах, бегающих по клавишину, о черной немочи и о лечении меланхолии кровопусканием. Конечно же, я кидалась к

пианино *экзальтированно*. Ибо все великое создается лишь на надломе, если не на переломе, о святая простота! Тенью в конце аллеи идешь лучшие восходные годы своего существования, руки в карманы, плащ, пальто, пиджак, что угодно, лишь бы были лацканы да развевающиеся полы по ветру, и придется постоянно ходить против ветра, это смотрится куда более в стиле романтизма, несуществующая хромота и существующий кашель, без грима, без муки всё куда смешнее, носовые платки распаханы по всем карманам, потому я и не высовываю оттуда руки, я кашляю, как чахоточная, уронив голову, сотрясая плечики, пока все вдруг не кинется ко мне заключать в заботливые объятия. Я проваляюсь несколько недель под зеленым абажуром настольной лампы, плывя по течению вместе с Аристотелем, и против течения Бальзака. Я горжусь своими родителями, рафинированно-образованными, они оба высокого роста, темноволосы и светлоглазы. Я горжусь своим мужем, бывает, в девяноста процентах вакантных вечеров он записывает в холле, обшитом звукоизоляционными коврами, злую нордическую музыку, пока я в своем будуаре молюсь на ниспослание мне свыше дара графомании. Мы встречаемся за сигаретой на нашей винтовой лестнице с коваными перилами, и меня вновь одолевает жуткий кашель. Плююсь кровью на мраморные ступеньки, как в ужастике. Б. на руках относит меня в покои, покупает путевку на воды, лечение, курорт, водолечебница, корзина с фруктами, витаминки, мне сносит крышу от текстов Михала Айваза, я заимствую у него по-страшному, вот это метафоры, метафоры – это всё, я заимствую у Айваза яркие образы на свои смс-сообщения, чтобы поразить, околдовать, пульнуть в самое сердечко эталонным совершенным текстом.

В состав НАЗа (носимый аварийный запас) на воздушном судне входит нюхательная соль. Я, предобморочная, бледнела перед Дантесом, этим Монсьером И., вопрошая небеса: «Где моя нюхательная соль?» А он, ведать не ведавший о романтизме начала девятнадцатого века, заученно по лекциям отвечал: «В НАЗе». У него отличное чувство юмора.

Еще есть мода. Мои подруги не читали Айваза, но они невероятно худые, такие же, как и я. Рис с соевым соусом, я вылавливаю собственный волос из лужи соевого соуса в тарелке, они почти одинаковы по цвету, мои иссиня-черные псевдоазиатские волосы и густой японский соус для суши Kikkoman, я ем палочками, те по толщине такие же, как мои пальцы, желтые от никотина, я пианистка, эй, я самая худосочная пианистка в истории, я играла на электрогитаре, я, да я, да я – рок-звезда, пока на крохотных подмостках и сценах моя гитара не стала ломать меня напополам, настолько я похудела для публичных выступлений, что мои святые родители, эти непререкаемые авторитеты в области искусства, собрались положить меня в стационар и кормить через капельницу (чуть позже в тайге я и подберу своего брата Андрея-Аякса, вот незадача, он – мой брат, совсем не окажется рокзвездным!). Б. мельчил мне в блендере овощные супчики, и фотал меня с картонным стаканчиком Starbucks, как всех голливудских див щелкают папарацци, с такими же стаканчиками; больше жизни я люблю мозговзрывательную прозу и Паганини, которого, стоит хоть пять нот сыграть самостоятельно, как вновь дрожишь и сплевывешь кровь, но делаешь это *так благоговейно!*..

Жан-Батист Гренуй не свернул бы мне шею, потому что теплые цветочно-фруктовые запахи корежат мое тонкое восприятие хуже звезд современной эстрады; когда я ступаю по улицам, и прохожие по идее должны расступаться передо мной, как воды Галилейского моря перед Моисеем, но они редко замечают меня издали, особенно когда я вышагиваю из-за фонарного столба, который прячет мое тело целиком и полностью, каждый напротив

даже ненамеренно, случайно как двинет плечом по мне, что каждый раз чуть не падаю, поэтому обувь годами покупаю себе на крепком квадратном каблуке, высоком, не особо высоком, но на устойчивом, надо же хоть как-то сохранять равновесие в этом невежественном мире, где любой бургер, ни черта не смыслящий в классической музыке, готов вышвырнуть меня на обочину общества! Так вот, когда я иду по улицам, на каждый бенефис, на ежедневную гильотину, я выливаю на себя флаконы Christian Dior POISON или Christian Dior ADDICT, от которых мне сносит крышу почти как от Паганини, и которые безупречны также и в филологическом аспекте – это грандиозные, сократовски идеальные названия! Это вам не блаженный летний бриз, воздухоосвежительное подражание, это нечто покрепче, не для слабонервных, это как капитанский ром, как шампанское с утра (стерши грань между аристократией и дегенерацией), это как хардрок-роковая зимняя вьюга, пьяная, смородинно-винная.

Б. защищает меня от кошмарного окружения вокруг нашего дома – стоит выйти не в сторону Кафедрального Собора, а, скажем, к Дому Музыки или к картинной галерее Мартариозы фон Лау из Швабии, придется идти через вокзал, с толпами обиженных на жизнь людей из пригородных электричек, они будут толкаться и пихаться в толпе еще жестче и больнее, тогда я не выдержу и упаду в обморок, и никто меня не опознает даже. Б., когда не может присутствовать рядом, оставляет мне шофера, чтобы тот хотя бы помог мне перемещаться в пространствах. А эти люди в толпе такие злые... Отчего они так несчастны? Знал бы хоть один из них, как трудно записать и выпустить по-настоящему хороший альбом, например. Я не стаскиваю с себя темных очков, и мне выносит мозг, когда на первых порах дите электричек Дантес высмаркивает в меня банальность наподобие: «У тебя такие красивые глаза, Кристabelleхен! Почему же ты всегда прячешь их?» Мещанское отродье, да что ты знаешь о жизни нереализованных, исстрадавшихся рок-звезд? Показывать свои красивые глаза явно и назойливо – что может быть глупее? Разве что с первых секунд знакомства демонстрировать все свои сильные стороны характера, чтобы к концу встречи все гарантированно умерли бы от скуки.

Едва поженившись, мы с Б., живя здесь, были отнюдь не так материально обеспечены, как сейчас. У нас не было денег даже на багаж от Chanel, а как бы мне хотелось прокатить чемодан с заветным логотипом в наше свадебное путешествие! Пришлось примерять имидж «нам-плевать-на-бренды», что в моем случае было мерзким лицемерием, но даже эту трудность семейной жизни мы сумели пережить. Как не смогли пережить конфронтации на тему войны старого доброго рока старой доброй Англии и чистого металлического гитарного звука поздних времен, «этого ляха» Шопена и попсового Бетховена, авторского кино против актерского кино, и прочих диспутов на сходные темы. Я ходила на концерты Б. выгулять новые наряды, от его произведений мне не сносило крышу. А ему от моих произведений не то что крышу не сносило, даже штукатурка не сыпалась.

Дантес плакал в автобусе под мою прозу. Он упивался моим полетом мысли так, что я в собственных глазах стала ни больше ни меньше – шпилем Кафедрального Собора, устремившемся в небесные райские просторы, шпилем тонким, но каменным, его не сможет толкнуть плечом очередной отпрыск Шарикова у вокзала.

У меня третья группа крови, и она отвечает за любое творчество, самовыражение, черт, черт, может, оно антропологически и не совсем так, но я так сказала, а все, что я говорю – истина, поэтому на третьей ступени в кровь примешивается художественное мышление, тот зеркальный коридор символов, через который невозможно пройти без темных очков,

чтобы ненароком в одном из символов-штампов не узнать себя. А, если захотите не просто себя узнать, а изучить досконально, то, попав в зеркальный коридор символов, захватите с собой очки с диоптриями – плохое зрение еще никому не помогало.

Первой группой крови на свет появляется *материя*, этот обворожительный примитивизм Дантеса, материя на пути прогресса и развития становится *ремеслом*, Алоизой, чьи вены и сосуды трудяги качают вторую группу крови; на мне-Кристабели, самой тощей черниловолосой рок-звезде, о черт!, ремесло превращается в *искусство*; и, как венец творения, искусство переходит в *дух* – четвертую группу крови, обладателем которой является мой муж, Б. Он умеет играть на всех музыкальных инструментах и обожает Levi's и Hugo Boss. Поэтому я и вышла за него замуж; о да, мы оба поклонялись античным музам с Парнаса и музам на парижских подиумах – и те, и другие были очень худые.

Глава 9.

IV группа крови. Святой Бартоломей

[Группа крови IV (AB) – самая редкая на Земле, встречается только у 7% людей. Они легко завоевывают симпатию окружающих, ведь для того, чтобы приспособиться к сложным современным условиям жизни, человек должен быть достаточно многогранным. Для этого в ходе эволюции ему необходимо было не только любить и уважать ближних, но и не давать себя в обиду. Человек учился общаться с самыми разными людьми, не теряя своей одухотворенности.]

*«Отзовись, кукушечка, яблочко, змееныш,
Весточка, царापинка, снежинка, ручеек,
Нежности последыш, нелепости приемыш,
Кофе-чай-сахарный потерянный паек.*

*Отзовись, очухайся, пошевелись спросонок
В одеяльной одури, в подушечной глуши,
Белочка, метелочка, косточка, утенок,
Ленточкой, веревочкой, чулочком задужи.*

*Отзовись, пожалуйста. Да нет – не отзовется.
Ну и делать нечего. Проживем и так.
И огня да в полымя. Где тонко, там и рвется,
Палочка-стукалочка, полушка-четвертак.»*

(Г.Иванов)

Б. любил смотреть на горящие свечи: он расставлял их вдоль шкафов по горизонтальной линии, такие стройные ряды плоских свечек-таблеток. Очень похоже получалось на аварийное освещение в самолете. Ряд лампочек освещает проход, пути к эвакуации. Каждый раз при проверке аварийного освещения перед рейсом, наблюдая со стороны, можно вспоминать, как мой Б. ставил свою свечную роту в комнате, а затем по очереди зажигал каждый фитилек.

Где та грань, за которой двое сидят ночь на холодной кухне, множа окурки в пепельнице и вопрошая друг друга: «Что нам делать дальше?», в надежде услышать твердую резолюцию; и после преступления этой черты каждый корабль идет своим курсом, с тяжелыми пакетами, полными книг, обувными коробками и этим бесконечным тряпьем, летним и зимним, демисезонным, наспех покинутым вместе с градом пустых вешалок навверх в промозглый багажник автомобиля; - где эта граница? Урны с прахом самовоспламенившейся от своей законности и вседозволенности псевдолюбви, когда-то-любви, не-с-нами-но-все-равно-любви, урны с прахом, засургученные горячими слезами в чашке остывшего чая, погребенные под ворохом открыток, открыток «стильных», не тех, что дарят сослуживцам на юбилей, а с шелковыми сердцами и крохотными бумажными декоративными розочками, умелой рукой новомодного дизайнера припиленными к сахарному папирусу заветной postcard. Похоронные марши общих любимых песен, приветы по радио, веселенькие мелодии, похоронные марши великих

маэстро, переигранных пальцами мастеров на скрипках, контрабасах и альтях свежим зеленым свадебным утром. Венки, конечно же, как можно забыть о венках, галстуки, браслеты, шарфы и другая именитая атрибутика, что звякает и вьется, и призвана напоминать, да и не напоминает даже, а как бы хотелось (тыканье иголкой в онемевшую кожу). И, наконец, эта унылая, бессмысленная и долгая *рефлексия по мертвецу*.

А потом меняется фон, но декорации остаются, в принципе, прежними. Ранним осенним утром, с пустым френч-прессом в посудомойке, вновь на кухне, но уже в одиночестве (которое все еще «свобода», а не «проклятие»), свистит чайник на плите, два пакетика жасминового в заварник, несколько минут, где новая кружка да побольше?, кипяток, сидеть на краешке любимой расшатанной табуретки, не задевая случайно кистью руки полную пепельницу, из оконных щелей дует в спину, но намеренно оставляешь все окна открытыми, чтобы вдыхать шире. На столе ноутбук, перечитывать написанное, поражаться сопливости и сентиментальности, но не стирать, потому что знаешь, что, когда зарубцуется, будешь писать куда более вычурно. Дышишь на стекла очков, еще одна кружка чая, а что там за окном, сигарета, формулируешь мысль, еще сигарета.

Чудовищно, когда от тебя уходят. Но куда чудовищнее уходить самому. Себе-то ничего и никогда не простишь. Это как с вышеупомянутой сопливостью. Врешь, изворачиваешься, читаешь стихи в парках-лавочках, приходя домой на два часа позже указанного времени, в лифте достаешь из волос опавшие листья, и смешно, ох, да как же невыносимо смешно, прямо оборжаться. А потом жрешь себя ешь поедом, строча «Интродукцию», перечитываешь о том, как стараешься не быть сволочью и вопросительно к себе же поворачиваешься: да ладно? Я списала с Б. подругу Аякса Марину, я списала с него всех самых добрых и самоотверженных персонажей, он был и остается бравым солдатиком, несущим знамя победы и верящим во все то, во что никогда не верила я. В красивые обручальные кольца и в Бога из религий. В этику, а не эстетику. В мораль и нравственность, верность и преданность, и стремление всегда бороться за правду, какой бы невыгодной она ни была.

Я предложила Б. уже в разгар трещания захворавшего брака по швам посмотреть «Невыносимую легкость бытия». Он, видимо, был не в настроении и выразил пренебрежение моей страстью к долбанутому авторскому кино фразой: «Что, опять муть какая-то?» Экранизацию Кундеры мы, понятное дело, не посмотрели.

Зато вскоре, буквально на третий день нашего раздельного существования, на просторах Интернета мне попадет на глаза восторженная рецензия Б. на фильм «Принц Персии». И вот он, долгожданный горловой комок, и под ложечкой, и поджилки: он всегда любил *такие* фильмы. Живя вдали от него узнать, что он все еще тот же самый человек и любит все те же фильмы – это, как ни странно, и вызвало самый широкий спектр эмоций. До сих пор, стоит мне услышать упоминание о «Принце Персии», все положительные черты характера Б. вновь предстают передо мной в обезоруживающей простоте. Наверняка «Принц Персии» показался ему красочным фильмом. Захватывающим. Зрелищным. Как «Троя», «Александр», «Когда солнце было богом» и вся эта его любимая околоисторическая пестрая синема. Ему всегда нравилась простая героическая фабула с претензией на эпический масштаб, достигаемый спецэффектами и километражем пленки.

Когда вышла книга моего брата Аякса, он ее не прочитал. Поэтому нам и придется расстаться вскоре. Меня не трогало то, чем он занят и увлечен, а его не волновали мои литературные экзерсисы. Я попросила его распечатать черновик на работе, он принес мне

стопку бумаг. Текст пошел по рукам, а затем, двадцатого июля, вышел сам роман. Б. купил шампанское, развесил по дому воздушные шары, подарил мне любимые белые лилии. Но ни до, ни после, ни когда бы то ни было еще он не читал мою книгу. Это было самым обидным. Вот и сейчас, уже так давно и далеко от всего этого, я могу сказать о свечной романтике, похожей на коридор emergency lightings, или о том, что со своим выдающимся гордым профилем и длинными прямыми волосами в облике Б. то и дело проскальзывало что-то неуловимо индейское, я продолжаю расстраиваться из-за того, что и этот текст он вряд ли прочитает.

Как же чудовищно первым брать на себя ответственность за неудачный опыт. Оставляя позади выдвижные ящики с недовышитой крестиком сакурой, полжизни корчиться от чизкейков лишь потому, что вдвоем готовили их. Б. мешал сухари с маргарином для коржа. Ванильный сахарок. «Нравится?» - спросил он меня. «Вкусно пахнет, что это?» Муж ответил: «Сухари с маргарином», и мы расхохотались. Все чизкейки во всех кондитерских мира отныне и до веку облиты невидимыми слезами моими, хотя я сама уйду от Б. Все автомобили Hyundai Accent черного цвета отныне и до веку осыпаны невидимыми поцелуями моими, хотя я сама уйду от Б. И никто вокруг меня никогда не будет иметь права на такие увлечения как: звукорежиссура, рыбалка, историческая реконструкция и ремонт холодильников, потому что всё это – прерогатива одного лишь Б. Хотя в итоге я сама уйду от него.

Мы были по разные стороны споров о натуре человека, стояли по разные стороны баррикад в вопросах классической музыки и литературы, мы катались по ковру, вцепившись друг другу в волосы, кидались друг в друга чизбургерами в автомобиле, потому что там тесно и неудобно помахать руками, но мы всегда были двое на дороге. Выезжали прочь из Большого Города увидеть поля и столбы, мы ездили в далекие дали, слушая радио и путая волосы встречным ветром. Мы летали на тяжелом самолете в мой Владивосток, и Б. сказал, что это самый красивый город в мире. Мы сидели в комнате, сорок пять квадратных метров, он – в наушниках, записывал новую музыку, и я – в других наушниках, слушая Broder Daniel, разбиралась с каракулями своего мертвого брата Андрейки, пытаюсь окончить рукопись «125 RUS». Мы всегда были вместе на дороге, и это было единственным, что нас объединяло. Конечно же, он любил свою К., и дорогие магазины, и ходить с К. по дорогим магазинам, сколько же мы провели там времени. На свадьбу нам подарили неплохую сумму денег, которую мы с Б. благополучно спустили в ИКЕЕ, при этом до сих пор ни один из нас не вспомнит, что именно мы там купили, кроме формочек для льда, оплетенного бисером зеркала и малинового цвета мухобоек.

В других реинкарнациях, иных измерениях и галактиках, заново рожденные или хотя бы продезинфицированные от прошлого, мы столкнемся лоб в лоб, под необъятным небесным куполом всеземного храма, на чьих стенах будут вырезаны фрески и барельефы, повествующие о наших с Б. долгих автомобильных поездках, о волшебной музыке, качественной и некоммерческой, о безумных покупках формочек для льда в виде звездочек, о бесконечных сезонах недосмотренных нами сериалов, о зиме в деревне и дрова, и печь, и бог мой, валенки да шапка-ушанка, как аутентично!, и обо всех живописных путешествиях на море – обо всем, что было, да что забальзамировано в неполных пяти фотоальбомах; и о том, чего так никогда и не было – например, о воздушных змеях, которых мы так и ни разу не запустили, или о самолетах, которые были спустя столь недолгое время, но уже у меня одной. Мы встретимся когда-нибудь, я скажу ему про свечки и аварийную гирлянду лампочек на борту, я скажу ему свое изжеванное

«мне очень жаль», и четыре этих слога не вместят себе ни атома, ни молекулы, ни мельчайшей частицы того, насколько мне было жаль на самом деле.

Глава 10.
Кафедральный Собор

*«Я ненавижу свет
Однообразных звезд.
Здравствуй, мой давний бред, -
Башни стрельчатой рост!*

*Кружесом, камень, будь
И паутиной стань:
Неба пустую грудь
Тонкой иглою рань.*

*Будет и мой черед –
Чую размах крыла.
Так – но куда уйдет
Мысли живой стрела?*

*Или, свой путь и срок,
Я, исчерпав, вернусь:
Там – я любить не мог,
Здесь – я любить боюсь...»*

(О.Мандельштам)

«...Когда я был старшиной, в моем распоряжении было сто двадцать человек, я ими вертел как угодно, а с тобой я как пластилин, такой, что можно взять и что хочешь сделать, и сделай, пожалуйста, как ты говоришь - разбей, в клочья порви, будь умнее, давай, сделай это...»

(Е.И.)

Дантес сказал жене, что не любит ее, что уйдет. Меня захватывала театральность происходящего. Кто-то заламывал руки, стонал, кто-то сотрясался в оглушительном гоготе, а кто-то сотрясался в беззвучных рыданиях, кто-то делал вид, будто ничего не происходит. (До кульминации оставалась примерно пара недель.) Алоиза забрала ребенка и уехала отдохнуть. Б. тоже уехал, на дачу, в Грозовой Перевал. Пока мы с Монсьером Бортпроводником обсасывали мотивацию наших супругов, время учебы также стремительно близилось к концу.

- И что они хотят этим показать? – спросила я И., закуривая, - хотят, чтобы мы почувствовали себя якобы свободными?

- Нет, - он хитро улыбнулся, - они хотят, чтобы мы почувствовали себя *одинокими*.

- Ты чувствуешь? – я выдохнула дым в сторону.

- Ты что, издеваешься? – рассмеялся Дантес, и, забрав у меня сигарету, таинственно понизил голос, - да я в жизни не чувствовал себя более счастливым, Кристабель.

Расписание занятий на август заняло всего половину листа формата А4, при одном взгляде на который мои морские и монсьеровы угольные глаза наполнились слезами предчувствия скорой разлуки.

Мы обнаглели до такой степени, что гуляли за руку по всем тенистым аллеям и бульварам Большого Города, уже не оглядываясь в судороге паники за спину, уже не пугаясь внезапных телефонных звонков. Почему должно быть страшно, когда все, в общем-то, уже решено? Мы сели в пролетку и поехали напрямик в Кафедральный Собор, вместе, вдвоем, Дантес и я.

По дороге встретили одну девочку из «Schmerz und Angst», она всеми правдами и неправдами пыталась выяснить, что же нам понадобилось в Кафедралке, ведь в августе храм всегда ремонтируют. Она подумала, будто мы врем. Спросила, не живу ли я случайно в том же районе. Вы едете домой к Кристабель, да? О боги! Мы, очевидно, только и можем, что обивать пороги засекреченных квартир или мотелей на час, достойнее же о нас никто не может подумать! Нет. Мы едем в Собор. У нас именно там есть неотложные дела. И наша знакомая, недоумевая, тщетно пытаюсь прощупать медную проволоку высоковольтной интриги, поехала дальше своей дорогой.

Вблизи шпиль, подернутый плывущими по голубому атласу облаками, норовил вот-вот рухнуть прямо на нас. Тяжелые двери, выщербленные ступеньки, на которые, по слухам, всегда сплевывал сам дьявол. Готическая розетка, этот каменный цветок-часослов, подмигивающие горгульи – они всегда были нашими друзьями.

О, величественное сооружение, из глубины веков нас благословляющее здание! Единственное, что уцелело этим пожарно-жарким летом! Ты, ледяной гранит, поведай нам о таинствах и ритуалах, о средневековом полудне и ратуши, и базарном времени грязных порогов! Доверь нам, Кафедральный Собор, свою в стены впетую латынь, и лицезрей нас, так трепетно снизу на Тебя взирающих! Узри нас, еретиков, по раскаленным будней мостовой размазанных преступников, и отпусти грехи наши, Отче Наш, хранитель Большого Города, Страж и Покровитель, наш Кафедральный Собор! И Ты, о Шило Небесное, Шпиль, донеси наши молитвы и клятвы до самого Последнего Неба выше и быстрее всех самолетов!

Мы поднялись по вычищенным от дьявольской слюны ступеням, мы зашли, мы окунулись в прохладу и сырую пыль.

Внутри Собора шла реконструкция, все было в строительных лесах. Наши шаги гулом отдавались под острым сводом. Рассмотрели цветастые витражи. Потрогали скамейки для прихожан, а вон, глянь наверх, меха органные, трубы, вот здорово! «Монументально» и «фундаментально». Собор – убежище, Собор – вертикаль духа, Собор – игла. Это одно из трех моих любимых слов. «Кафедральный». Еще мне нравятся слова «телеграфный» и «литографский». Ну, и немножко – «метафизика». Мы пошли вперед, где-то на высоте, в полом и тесном теле Шпиля строители громыхали своими инструментами, они поднимали по веревке банки с краской, валики и кисточки.

Мы подошли к алтарю. Двадцать пальцев четырех рук скрестили перед высающимся подле нас крестом.

- Клянусь, что люблю тебя, и буду любить вечно, пока смерть не разлучит нас, - начал Дантес.

- Клянусь, что люблю тебя, и никогда не разлюблю, пока смерть не разлучит нас, - закончила я.

Кто-то из бригады наемных рабочих накрывал полиэтиленом исповедальню, дабы на нее не попала случайно краска. Мы расцепили руки.

- Разбей меня, - прошептал И., наклонившись ко мне через алтарь.

- Ты неправильно просишь. Ты должен говорить: «Zerbrich mich»¹¹. Только в таком варианте фраза звучанием достигает своего смыслового накала. Произнеси это «цэрбрих михь», и сам услышишь пока еще даже не существующий хруст.

Мы выползли на солнышко. Я прихватила программку завтрашнего концерта органной музыки, подбивая Дантеса составить мне компанию, на все лады превозносила дар Моцарта и Баха. Мой возлюбленный был на грани отчаянья, ведь пожертвование составляло не меньше половины его стипендии в авиакомпании, а еще надо на вечер купить еду, какой уж тут концерт. Я страшно обиделась. Как можно вообще покупать пищу, тратить деньги на какую-то жрачку, если в Кафедральном Соборе завтра будут играть Баха и Моцарта?

- Ты не духовен! – я вскочила со скамейки на площади перед Собором, - ты такой же бургер, как и все!

- Я не могу быть бургером, - возразил Дантес, - так как я не горожанин, а житель окраин.

- Все равно! – не унималась я, - ты мещанин! Крестьянство в электричках! Ты... Ты – БЫДЛО, вот ты кто!

Наступила затяжная пауза.

- Окей, - протянул И., - как скажешь.

- Просто я не понимаю, как можно, выбирая между пельменями в морозилке и живой органной музыкой, остановиться на первом!

- Ты никогда этого не поймешь, Кристабель.

- И я *не желаю* этого понимать!

Вторая затяжная пауза переросла в тягостное молчание. Вновь силенциум. Я разглядывала резные башенки Собора. Ждала, когда Дантес начнет мириться. Он всегда первым делает шаг к примирению. Неизменно.

Я дождалась.

- Давай поступим так, - он повернулся ко мне, - Если будет на что внести пожертвование, обязательно пойдем на концерт. Думаешь, я сам не хочу? Да я ни разу не был на подобных мероприятиях, конечно же, мне все это дико интересно! Но, се ля ви, я неизбежно финансово неблагополучен. Пока что. Завтра точно скажу, что и как. Окей?

- Окей, - я все еще притворялась обозленной.

Неожиданно Дантес вскочил со скамейки:

- Кристабельхен!

- Дантесхен? – среагировала я.

- Вот-вот, - разочарованно скривился он, - мне все это надоело, понимаешь? На-до-е-ло! Эти прозвища! Когда все это закончится?!

- Чего ты хочешь? – я подошла ближе.

- Я хочу, чтобы я был Е.И., а ты была А.Е., и всё.

- Совсем не похоже на предложение руки и сердца, Монсьер!

- Похоже на объявление о продаже души дьяволу и падении в пропасть.

¹¹ Нем. «Разбей меня»

Настало время разъезжаться, пять часов вечера, чтобы каждому успеть прийти домой, не вызвав при этом никаких подозрений. Хотя, с каждым днем мы все проще и проще относились и к этому, ведь чего бояться, когда, в общем-то, все уже решено? Я все-таки обернулась, но вовсе не от испуга быть пойманной на месте преступления. Я оглянулась: Шпиль оставался неподвижным.

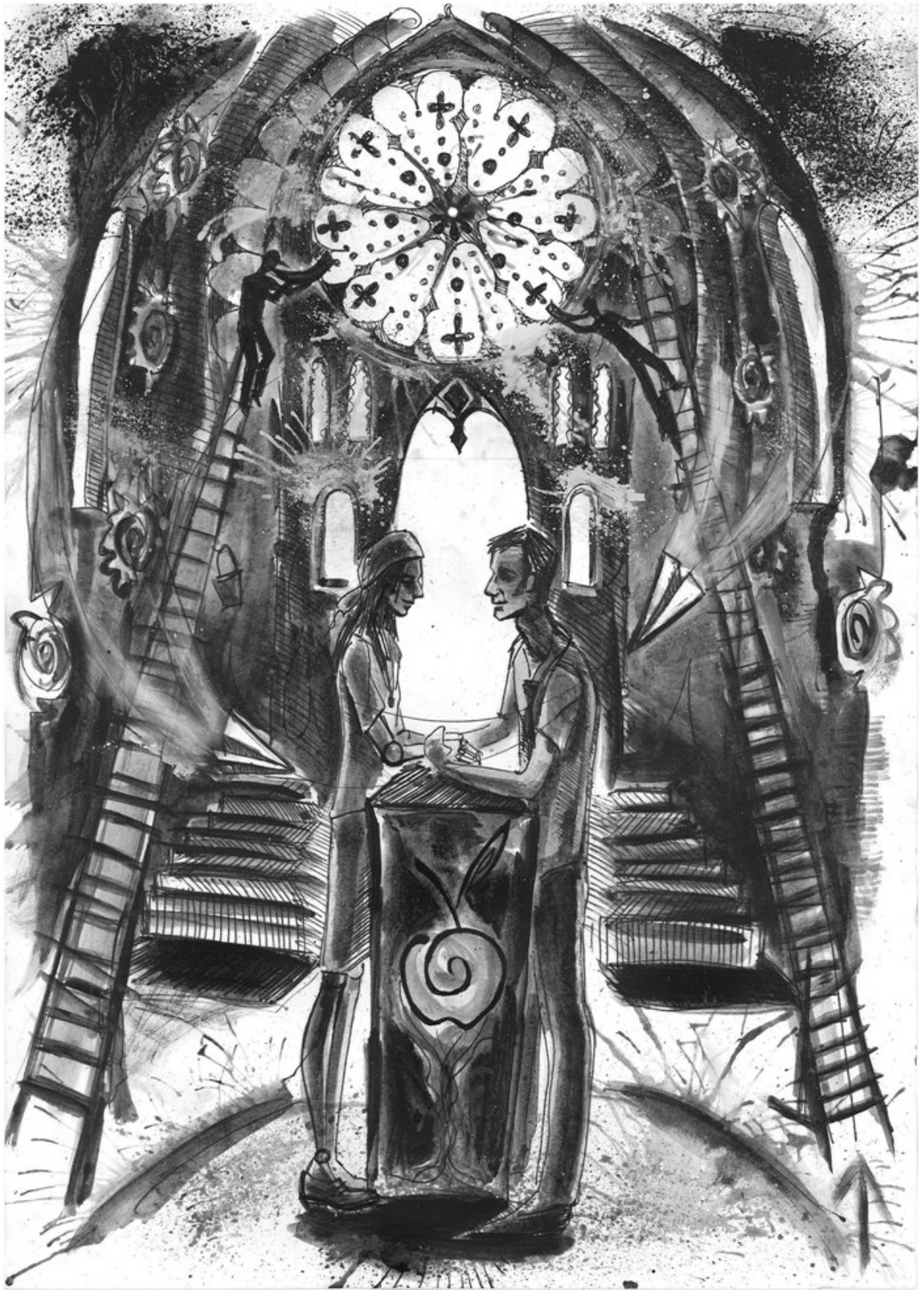
Мы шли к трамвайным путям, в старой части Города они проложены вдоль крошечных улочек с одноэтажными домами, в окнах которых, нет-нет, да и увидишь как-нибудь ночью в свете свечи разговаривающих друг с другом силуэты Фауста и Мефистофеля. Я всегда обожала Старый Город, вместилище сказок и страшилок, безумных художников, изломанных арлекинов, ладана и воска, умирающих скрипок, кровавых заклинаний, жабьего языка и буйных водостоков. По воскресеньям все менялось: под тугим бирюзовым небом колокольный звон разгонял голубей, народ заходил через Главные Ворота, вместе со своими обозами, въезд был забит, и в такие дни моему мужу приходилось показывать стражникам свое удостоверение Высокого Чина, дабы наше авто беспрепятственно пустили в Город...

На остановке я обняла Дантеса:

- Скажи мне это еще раз. Мне нравится, когда ты это говоришь.

И он сказал, да, пожалуй, раз двадцать подряд:

- Zerbrich mich. Kristabelle, zerbrich mich...



Глава 11.
Изумрудное

*«Мы в город Изумрудный
Идем дорогой трудной,
Идем дорогой трудной,
Дорогой не прямой...»*

(детская песенка
«Волшебник Изумрудного города»,
слова И.Токмаковой)

Изумруд-но-е!
Все вок-руг
Взгля-ни
Ты моя на «Е»!
А ты мой на «И»!

Ста-щить с те-бя башмак
в парке на
раз-два!
в изумрудном го-ро-де
ма-хать баш-ма-ком
До-го-ни!
Пой-май!

Эй Монсьер
Бортпроводник!
Бортпроводн-И-КЪ!
Пей
Литографскій лакъ!¹²
Залпом
Сме-ши меня!

Опоздай до-мой
У-едь не туда
В э-лек-три-чке усни
Будут все
Ис-кать
Будут тре-вогу
Бить
Где Монсьер
Бортпроводник?
Те-ле-фон

¹² Шутливое название водки в одном из меню образца начала двадцатого века.

Молчит
В морг звони!
Он пропал!

Буду я хо-хо-тать
Эй Монсьер
Смеси меня
Я стащу
Твой башмак
Залпом пей
Ал-ко-голь

Где ж Монсьер?
Почему?
До-ма не но-че-вал?
Он в беде!
Он пропал!
Трубку он
Не берет!

Буду я
Правду знать
Что Монсьер
Был пьян
Он у-е-хал ту-да
Знает сам черт
Куда

Утром за-шел
Домой
Ты живой?
Ты живой?

Как ты мог
Монсьер
Ох-ты
Смеси меня

Я хочу
Гу-лять
Праздника
Пить вино

Поскакал
В лом-бард
Прода-вать

Коль-цо
С самого
То-го
Безымян-ца ох
Сты-до-ба,
Монсьер!

Ну а что?
Де-нег ж нет!

Я про-дал!
Да-вай
На-ли-вай!
За мой счет!
Я тебя у-го-щу
Милу-ю
Крис-та-бель

О любовь!
Ты – любовь!
Пей! Ешь!
Все куплю!
О любовь
Мо-я
Ты = я
Ты, я!

Я до-пус-ка-ю
Будешь мне
Не-вер-на
Все прощу
Все пойму
Только ты
Будь со мной

Хва-тит
Ну-дить!
Монсьер
Бортпроводник!
Пей
Свой
Гра-аль!
Пей до дна
Смеси меня

Изумруд-ны-е:

Парк,
Лес,
Лето,
День.

Я хочу сце-дить
Весь крахмал
Тво-их о-дежд
Я хочу изъ-ять
Те-бя
От них от всех
Будешь вслух
Мне чи-тать
Я тебя кор-мить
С ло-жеч-ки
Мед-ком
Бант вя-зать
Тебе в ко-су

Я тебя
Убь-ю
Ты не по-чувст-ву-ешь
А по-том
И се-бя
Будет нам
Хо-ро-шо

Всё отдам
Всё продам
Всё куплю
Я люб-лю!

Де-точ-ка
Крис-та-бель
Ты па-лач
Ты лю-бовь
Ты мо-я
Эй ты
Рас-ска-жи
Кля-нись
Что ниг-де
Ни-ког-да
Но сей-час
Сей! Час!

Мон-сьер
Бортпроводник

Эд-мон Дан-тес
Я вам тут кля-нусь
Что вас то-же
J'adore¹³

Ein-Zwei-Drei
Polizei!¹⁴
Прячь шампунь
Шам-пань!
Здесь менты!
Не боись
Ты со мной
Здеш-ний ты

Я хочу ни-че-го
Я хочу нет да
Я хочу ни-ко-го
Ни-ког-да всег-да
O ja, o ja!
Feuer! Feuer!
Ich, du, ich, dich,
mit mir, du, mich!¹⁵

Я тебе сыг-ра-ну
На флей-тах ах да
Ну а я
Я тебе
С фор-те-пи-а-но
Будем мы
Пес-ни петь
Ка-шу есть
Ле-тать
Шел-ком быть
Негой стлать
Буду те-бе
Кро-вать
У-па-ду
Ус-ну
Я тебе
Слад-кий сон

¹³ Фр. «Я обожаю»

¹⁴ Нем. «Раз-два-три,
Полицейский.» (детская считалка)

¹⁵ Нем. «О да, о да!

Огонь! Огонь!

Я, ты, я, тебя,

Со мной, ты, меня».

Пух взо-бью
Под тво-ю
Буй-ну-ю
Голо-ву

Пальчи-ков
Щел-чок
И я здесь
Твой весь
Лишь скажи
Что и ты
Тоже ты
Здесь ты

Ну вы что
Монсьер
Му-чить вас?
Не могу
Я вас все-лен-ски
Я вас так
Черт ну!

Буа-ля!
Voilà!
Смейся, рай!
Ад, ры-дай!
Это ты
Это я
Ад, катись,
Рай приблизь.
Будем мы
Свя-ты
И честны
И чис-ты
Мы уй-дем
Вот так да!
Так и я
Так и ты

Свистну
Бо-ти-нок твой
По при-гор-ку
Побе-гу
До-го-ни!
Пой-май!
О твой смех

Мой смех
Де-точ-ка
Крис-та-бель
Мон-сьер
БортпроводниКЪ
Пей
Ты
На
Пей
До
Дна
Со мной
Пей
И ты
Тоже на
Залпом пей
До дна!
И в пляс!
Эй, постой!
По одной
Еще? Еще!
За наше здо-ро-ви-е!
За нашу любовь-«И»-«Е»

До дна!
До дна!
Все, все, все
Все – в пляс!
Пьем шам-пань
Пьем вино
Воду пьем –
Все одно

Изумруд-но-е
Все вок-руг
Взгля-ни
Нав-сег-да «А.Е.»
Нав-сег-да «Е.И.»

Глава 12.
Immer Zusammen¹⁶

«...Нет, быть одному с Тобой я представлял себе не так, как Ты думаешь. Когда я желаю чего-то невозможного, то уж до конца. Так что совсем один, любимая, да, я хотел быть Тобой совсем один на белом свете, совсем один под этим небом, и всю мою жизнь, что принадлежит Тебе, сосредоточенно и без остатка свести с Твоею. Франц.»

(Ф.Кафка, «Письма к Фелиции»)

Всё позади. Больше никаких терзаний. Мы вместе, я и Дантес. Мы ушли. Мы поселились в гостинице в центре Большого Города, на неделю, пока не найдем себе отдельное жилье.

Дантес написал мне незадолго до этого: *«Ты, ты, ты. И больше никого. По щучьему веленью, по моему хотенью. Точка принятия решения. Точка невозвращения».*

И я ответила ему: *«Чудо-расчудесное! Для кого придумали накрахмаленные белые воротнички? Кто себе «поломал копыта», прыгая через турникет в метро? Ты, ты, ты. Точка принятия решения. Точка отрыва».*

Той ночью, когда мы съезжаемся под одну крышу, меня ставят в первый стажерский рейс. Я прилетаю утром, но утром в рейс ставят Дантеса. Я захожу в магазин, покупаю фоторамку. Он приходит вечером, принося розы (вновь пошлятина, но соответствует моменту). Я поворачиваю ключ в замке, захожу в наши апартаменты, и вижу, впервые вижу стопку Дантесовских футболок, его воск для волос на полке в ванной комнате, его ботинки в прихожей. Улыбаюсь футболкам, воску, ботинкам.

За сутки до этого мы с Б. в последний раз сидим на кухне, я реву в пепельницу и умоляю его сделать хоть что-нибудь, прочитать, в конце концов, мою книгу, почему ему неинтересно мое творчество? Муж отвечает, что в его проявлениях любовь выглядит немного иначе, кто же, к примеру, позаботится о том, чтобы у меня был завтрак, кто купит мне журнальчики, кто будет ухаживать за мной, когда я простужусь. Не надо, говорю я, мне это никогда не было нужно. Ни молочных ломтиков, ни аспирина, ни модной периодики – прочитай, пожалуйста, мою книгу! Пойдем на концерт органной музыки! Б. спокойно смотрит на меня: «Мне это неинтересно!» Тогда уже ничего не попишешь. И я собираюсь прочь.

Дантес оставляет Алоизе записку «я ушел», пока она на работе, и переезжает в гостиницу. У него все происходит куда тише, без душещипательных сцен. На третий день жена пишет ему, что ждет, когда он заедет за своими остальными вещами.

Так мы, наконец, остаемся вдвоем.

Вдвоем, полуночные, на крыше главного здания Города, пришипленные иглой Собора к сизым ночным облакам.

Варим кофе и глинтвейн, ходим ночью гулять к Кафедральному Собору, смотрим фильмы Линча, ездим в аэропорт на автобусах, замачиваем наши белые рубашки, две Монсьера и одну мою, стираем их, выжимаем, вывешиваем сушиться, гладим их. Мы

¹⁶ Нем. «Всегда вместе»

бродим по большим мертвым торговым центрам, примеряя очки Prada и Ferge, мечтаем, что, когда будем много получать самостоятельно, купим их себе. Отныне время принадлежит только нам. По вечерам я что-то печатаю в своем ноутбуке, потому убираю его на стол, чтобы заварить чай, Дантес меня опережает, он приносит две кружки чая, ложится на диван и кладет голову мне на колени, и я вынуждена убрать ноутбук с колен, перестать печатать. Мы засыпаем тихо, вымученно после полных забот дел (надо купить чайник, френч-пресс, приборы, посуду – в новую квартиру, бог мой, на что же все это покупать?). Мы тихо разговариваем, тихо ступаем по мраморному полу, тихо выходим в холл курить. Однажды мы бежим через всю старую часть Большого Города, чтобы к шести часам вечера успеть занести шесть авторских экземпляров романа Аякса моему издателю и душеприказчику Макс Броду, дабы отвезти их в Книжную Палату, конечно же, мы не успеваем, слишком уж внушительное расстояние приходится преодолеть, мы сворачиваем, идем на Центральную Платц, улыбаемся нашему родному Шпилю, потом заходим в очередной торговый центр, берем мороженое (у нас есть деньги только на мороженое, поэтому в кафе мы даже не заходим), меняемся, например, если я ем карамельное до середины, а потом отдаю его Дантесу, который, в свою очередь, догрыз половину фисташкового, и теперь оно достанется мне.

Меня то и дело душат слезы у витрин бутиков, в которых мы с Б. себе что-то когда-либо покупали. Зато с Дантесом очень живо обсуждается литература, пусть он в ней и не смыслит, но схватывает на лету всё про ЛЕФ, циклические и кумулятивные сюжеты, три единства в драме классицизма. Я учу его немецкому языку, он корявенько запоминает местоимения. Дантес варит суп и заставляет меня его есть, потому что «это полезно для здоровья», он размешивает за меня сахар в кофе. Мы спим мирно, без сновидений. Хихикаем на тему куртуазной Франции.

Без сомнения, излюбленная тема для обсуждений – то, через какие муки пришлось нам пройти, сколько препятствий одолеть, чтобы, наконец, быть вместе. То часами переговаривая все подробности, то из суеверного ужаса налагая табу на эти пересуды, мы дрожим спаянными в перекресте пальцами под уже остывшим августовским небом, провожая лето, вступая в осень побитой, едва склеенной парой, мы трясемся от холода под первыми дождями, пряча любимые лица в воротники друг друга, закрывая их от враждебных порывов ветра.

В последний день августа гравёр вырежет на серебряном кольце Дантеса, моем подарке, инициалы «А.И.Е.», с одной общей буквой на двоих. То же самое было выгравировано на моем медальоне, внутри которого я носила связанные пряди наших волос. Мы обвешивались талисманами, оберегами, письменами, призывавшими убедить нас же самих в долгожданном обладании объектом воздыханий.

Они все писали о нас, так скажет мне Дантес. На самую любую букву. Возьмем хотя бы Ш. Все на «Ш» писали про нашу любовь: от Шекспира до Шуфутинского. И все остальные тоже – тоже о нас.

В автобусе после стажерских полетов Серега, общий друг из нашего отделения, фотографирует меня с Дантесом на мобильный телефон. Мы оба в черных пиджаках, в белоснежных рубашках, Серега смотрит в объектив и радостно кивает головой: «Шикарно, ребята, вы молодцы!» Вернувшись в номер, я включаю компьютер и обрабатываю фотку в каком-то графическом редакторе, потом мы распечатываем ее и ставим в рамку, которую я купила в первый день нашей совместной жизни. Я припиливаю ровными печатными к фото два слова: immer zusammen.

Нам удастся найти сдающийся в аренду дом, где-то очень далеко от Большого Города, но зато рядом с аэропортом. Он находится в поселке «Черные Сады», у деревни «Заборье», совсем близко к Горе. Надо же, мы будем жить у подножия Горы в каком-то поселке, это так захватывающе. На день сдачи экзамена планируется наш окончательный переезд.

Однако, не все идет гладко. Переехать нам удастся, в рюкзаке прольется солеными чернилами соевый соус, и мы изгваздаем все вещи, будем отстирывать их и пересмеиваться; у нас будет аскетичный набор кухонной утвари; мы будем жаждаť скорее въехать в дом, чтобы обрести собственную крышу над головой. Дом – это уже последняя стадия общности. Ложкой дегтя выйдет только начало сентября, когда ни я, ни Дантес не сдадим экзамен, и не станем бортпроводниками.

«Schmerz und Angst», оплатив нашу учебу и заключив с нами договор еще в начале лета, предложит нам временно перейти на иную должность, пока не возобновится набор и не созовут экзаменационную комиссию еще раз. А пока что нас определяют в цех бортпитания. Расфасовывать еду на конвейере.

Известие хлестануло плеткой под коленями. Мы падали все ниже и ниже, хватаясь за клочки облаков, за которые нам оказалось не под силу подняться профессионалами. Мы падали ниже, теперь уже натурально в тартарары, в подземелье пищевых мануфактур, раскинув руки, и по старой привычке делая вид, что это крылья. Фасовать обеды для пассажиров, считать, укладывать, завод, печь, мгновенная заморозка – вот в чем я решила найти себе отныне применение. Пока мы будем там вместе, мечтать о втором наборе и пересдаче экзамена, чтобы, наконец, физически подняться выше всех крыш, шпилей и чужих мнений, под божий свод небесный, рука в руке, вдвоем.

Я осталась работать в цехе бортпитания. В поселке «Черные Сады». Я осталась без средств к существованию и даже без автомобиля, на котором можно было бы добраться до цеха в ночную смену.

- Кристабель, это не для тебя, - тогда же заявил мне И., скачивая mp3 «Yellow river» Джеффа Кристи, - Мне-то ладно, все равно, где деньги зарабатывать, а тебе, у тебя университетское образование, на что ты вообще подписалась, ты не выдержишь, пощади себя.

- Ты недоволен, очевидно? – с сарказмом спросила я его.

- Недоволен. Вообще все получается как-то криво. Но, извини, по-моему, я ничего совсем не соображаю, ничего не чувствую даже, кроме этой щенячьей радости лишь от того, что теперь ты со мной.

Часть вторая.
ВРЕМЯ-ЙОТА.

Глава 13. «Черные Сады»

**«Встали в белом воздухе драконы,
И танцуют на большом ветру...»**

(Г. Гейм, «Осень»)

«Из самых недр садов доносилась тихая волшебная музыка, и я чувствовал, что она непреодолимо влечет меня к себе. Я пошел на эти звуки по нетронутому снегу в глубину темного сада. За поломанным забором начинался следующий сад; хмельной, брел я по заснеженным тропинкам, среди голых деревьев, на ветвях которых кое-где висели маленькие пожухлые яблочки, мимо компостных куч, покосившихся сараев, пустых крольчатников, вдоль все новых и новых заборов. Не покажется ли среди стволов загадочный трамвай? Не заблестят ли в кустах алмазы на диадеме Королевы садов?»

(М. Айваз, «Другой город»)

Поселок «Черные Сады» примостился в двадцати минутах быстрой ходьбы до поворота на аэропорт. Население составляли в основном старики и дети дошкольного возраста, вывезенные сюда вечно занятыми родителями из электрического мегаполиса на лоно природы и чистого воздуха. Попасть в Черные Сады можно было двумя способами: на автомобиле, минуя, в зависимости от ситуации, распростертые или же закрытые деревянные руки двух шлагбаумов, или по железной дороге, но тогда от ближайшей станции приходилось идти сначала по лабиринту гаражей, в коридорах которого гул поездов вперемешку с завываниями ветра отражался наиболее зловеще, а затем по полю, холодному и осеннее-уставшему, с левой стороны тянулись безымянные склады, а едва заметная на многострадальном поле тропинка медленно, но верно выводила путника напрямик в поселок.

В нем было всего двенадцать домов, одна дорога и небольшой магазинчик. Но главной достопримечательностью Черных Садов, разумеется, была Гора. Вытянувшаяся вверх на две тысячи метров и упершаяся в небо исполинская земляная махина, она была покрыта облаками и туманами. В ее лесах бродили сгорбленные старички с котомкой грибов, на ее склонах зимой скользили редкие в этих далеких краях лыжники.

Дантес и я въехали в двенадцатый дом, находящийся у самого подножья Горы, на отшибе самих Черных Садов, третьего сентября, когда небо уходит уже совсем высоко, закаты багровеют все ярче, а насыщенности красок высохших листьев позавидует любой гербарий. Первые несколько недель мы питались исключительно рисом, макаронами и картофелем, но, по прошествии некоторого времени, жилище становилось все более и более уютным. На столе появились журналы и газеты, на полках – словари и книги, в ванной комнате – всевозможные бутылки, а на кухне, наконец, помимо стратегического запаса круп, соли и консервов, появились гроздья сладкого винограда, сыры, красная икра и изысканный горький шоколад Lindt.

Мы разведывали территорию. Ходили в лес, ходили по соседней деревне «Заборье», любовались на поля, над которыми каждый вечер эта непередаваемая словами серая дымка уплывала на запад... Мы покупали средства для мытья посуды, сметану, щетки для

обуви, с пакетами в руках шли по деревне от железнодорожной станции, к Горе, к нашему новому дому, а дымка уходила на запад.

В доме появился наш запах. Мы лепили вареники вдвоем, я месила тесто, а И. раскатывал его пивной бутылкой (у нас не было скалки и денег, чтобы ее купить), заворачивал начинку, кидал в кастрюлю. Мы ели за нашим древним косым столом, все форточки немилосердно продували спину и шею, мы ели вареники, пили мутный чай, одолженный в цехе бортпитания. Мы приносили с работы полные карманы порционной соли, масла, плавленого сыра. Добытки, мы вываливали награбленное на кровать, пока кто-то второй спал, будили победным кличем: посмотри, любовь, что за вкусности у нас будут сегодня!

Хозяйка дома, фрау Нахтигаль, жила неподалеку. Мы пришли заключать с ней контракт, Дантес был похож на итальянского мафиози, в черной кожаной куртке, темноглазый, с католическим крестом на шее. На мне была шляпа Джека-Потрошителя. В таком виде мы блуждали по Черным Садам, наводя страх и вызывая недоумение у тутошних аборигенов. Старушки молча смотрели нам вслед, а дети вскакивали со своих дворовых качелей, и бежали, обгоняя нас, чтобы еще раз взглянуть на таких необычных, маскарадных новоприбывших.

Мы ждали автобусы на конечной остановке под жутковатым и лаконичным названием «Гора». Автобус приезжал раз в сутки, всегда с задернутыми занавесками в салоне. Водитель ждал полчаса, пока наберется достаточное количество пассажиров. К зеркалу заднего вида была прикреплена икона Богородицы, и, пока автобус стоял на остановке «Гора», ожидая людей, водитель беспрерывно смотрел на икону, не моргая. Потом он, наконец, поворачивал ключ зажигания, и вез нас в аэропорт, на работу, в наш цех бортпитания.

Мы ехали мимо складов, мимо грузовых терминалов, через два железнодорожных переезда, вырываясь из объятий шлагбаумов, мы ехали мимо стоянок дебаркадеров, металлических и ледяных, мимо наглухо закрытых пустых ангаров, мимо елей и дубов, молча взирающих на нас, терших сонные глаза, выдвигаясь в четыре часа утра на смену.

В цехе нам выдали темно-синие робы. Я люто возненавидела эту одежду с самого начала. Прятала ее под длиннющими плащами, намеренно вытаскивала челку из-под заводского платка, за что получала постоянный нагоняй от начальства. Я красила ногти черным лаком, лаком цвета морской волны, фиолетовым лаком, лишь бы выделиться на фоне других работяг, фасующих бортпитание. Иногда я рассказывала другой сменщице в подсобке о книге своего брата Андрея, о моем бывшем муже Б., с которым жила в самом центре Большого Города, о своих любимых автомобилях. Женщины таращили на меня глаза, такие же усталые и заспанные, как и мои, с треснутыми кровавыми стрелками сосудов на белках, со слипшимися ресницами.

Дантес же, напротив, был, казалось, даже рад новому виду деятельности. Ничего нового, все тот же завод. Он спокойно относился к бездушной ленте конвейера и к этой чудовищной робе. Я отыскивала разные атрибуты, призванные подчеркнуть мою случайность и временность попадания на должность фасовщицы еды. Надевала самые дорогие украшения, подаренные мне когда-то Б., надевала их все и сразу, блистала бриллиантами под трескучими лампами дневного света в цехе.

- Как бы мне саботировать «Schmerz und Angst» сегодня? – полушутя и обреченно спросила я однажды Монсьера Неудавшегося Бортпроводника, собираясь на смену, - Может быть, вот так? – я достала из шкафа шелковый шарф от Hermès.

Но И. вообще не разделял моих страданий. Иногда он, правда, жалел меня и недоумевал, что же меня держит в этой кошмарной каменоломне. Боже, я ведь все была готова стерпеть, лишь бы получить возможность летать по небу. Говорят же, они живут там, в небе. Я всегда думала, что мой мертворожденный брат Андрей, он же Аякс, обитает на дне морском, служит администратором Тихоокеанского отделения, и вообще он – первое приближенное лицо у самого Посейдона. Но, увы. Как уже говорила, я стояла многие часы и дни на береговой линии каких угодно морей, звала Андрея, братик мой любимый, кровинушка моя, явись мне, дай мне знак! – и ничего. Плакала, умоляла – Аякс так и не отзывался.

Тогда я позволила им сломить меня. Надевайте на меня вашу пошлую роскошь. Обложите меня «Металликой» и «Бойцовским клубом». Осыпьте меня штампованными золотыми цепями, цепями прикуйте меня к вашим нормам жизненных достижений и к вашим церквям – тогда я поверю в то, что души мертвых живут не в море, а на небе. Если только это небо даст мне увидеть моего Аякса...

Мы с Дантесом нашли неподалеку еще один Маленький Городок, в котором была больница, супермаркет и даже свой крохотный железнодорожный вокзал. Правда, до Городка тоже приходилось ехать на маршрутном такси не менее часа, но это уже было хоть что-то. В единственном книжном магазине там мы купили карту мира, повесили ее дома вместо ковра на стену. Мы купили цветные булабочки и мечтали о том, что, когда будем летать, приколем булавки на все города на карте, в которых нам удастся побывать.

Телевизор показывал чепуху, Дантес любил телевизор – я обнаружила в возлюбленном первый изъян, обнаружила его с блаженной улыбкой, прячась в его руки, такие же костлявые, как и мои, в полудреме валяясь на нашем разложенном диване после ночного труда с раскидыванием самолетной еды по контейнерам, под гуденье микроскопического телевизора в углу нашей нелепой и смешной гостиной.

Я возвращалась в Черные Сады, еле волоча ноги от усталости, рывком скидывая с себя ненавистную робу, я швыряла ее в угол, плелась в ванную, а потом валилась спать. Дантесу было гораздо легче, закаленному в подобных профессиях, он не переживал, не страдал недосыпом или вырывающимися всхлипами уязвленной самооценки: «Что я вообще здесь делаю?»

Как-то раз у меня случился приступ прямо в разгар работы. В цехе бортпитания всегда блюлась идеальная чистота, не дай бог какая зараза с грязных рук попадет на продукты. Шел пятый час моего марафона по каменоломне, молча делая свое дело, я вспоминала в уме французские глаголы, и застопорилась на «прекословить», как началось. Кашель удушил меня прямо у станка, и кровь капала из перекошенного рта на ленту, на движущуюся по ней веселую вереницу еды, я же ничего не могла с собой сделать. Тогда заместитель начальника вlepил мне жуткий выговор, «нам тут больные не нужны!», я даже подписала какую-то служебную записку о вычете премий из моей зарплаты. Только бы скорей попасть домой, думалось мне той бесконечной ночью, я глядела на циферблат своих Longines, уже поцарапанный где-то здесь, в цехе, и ждала одного – только бы добраться до дома.

- Я не могу здесь работать! Я ненавижу эту каменоломню! – повисла я на Дантесе в прихожей.

- Тише, тише, успокойся, - он гладил меня по голове.

- У меня чудовищно болят ноги!

- Приляг, Кристabelleхен. Ножки пройдут, все будет хорошо.

Так он успокаивал меня, пока мое сознание полностью не растворялось в вымученных сновидениях. И. шел в лес за грибами, потом жарил их с картошкой, к тому часу уже наступало время ужина, я просыпалась, мы ели, а после я провожала Дантеса на его смену, все в ту же каменоломню. И до утра вертелась на диване, на котором невозможно было уснуть, если рядом нет И., пила кофе, читала привезенные с собой из Большого Города книги, печатала что-то по мелочам, пока за окном в Черных Садах ухали совы в такт моим беспокойным инсомническим мыслям.

Зато днем здесь было просто великолепно. Соловьи заливались чудесным пением, лучи солнца нежными иголками пробивались сквозь черные ветки за окном, сквозь наши полуистлевшие от времени шторы на кухне. Мы пили кофе с порционными сливками, мы стирали и перестирывали наши рубы – достойная замена белоснежным рубашкам. Дантес мазал мне ноги кремом против варикозного расширения вен – они болели так сильно, что, случалось, мне снились кошмары с отрезанием конечностей. Мы покупали вино в бумажных пакетах, кипятили его, добавляли туда мед и лимон, потом пили, чтобы не простудиться, чтобы иметь здоровье и силы выйти на работу, и получить деньги.

Теперь уже у нас обоих было очень мало денег. Но никого не было в округе счастливее нас, с пустой картой на стене и коробочкой цветных булавок, с холодильником, полным свистнутых «плохо лежащих» где-то продуктов, никого не было счастливее нас, по ночам слушавших аудиолекции по философии и теологии, учивших древние письмена и иероглифы.

Мы ни разу не поднялись на Гору, потому что, даже живя у нее под пяткой, невозможно было избавиться от этого суеверного ужаса, охватывающего любого человека, задирающего голову вверх, к далекой заснеженной вершине. На автобусной остановке «Гора» было три скамейки под козырьком и урна для мусора. Мы покупали домой хлеб, и ели его горячим прямо на остановке под сентябрьско-октябрьскими ливнями.

Большой супермаркет с горячим хлебом находился в том самом соседнем Городке, на безымянной остановке, у нее действительно не было названия, только к столбу была привинчена непонятно откуда взятая фанерная табличка «НЕ СЛЕЗАТЬ С КАРУСЕЛИ!». Может быть, ее принесло сюда из какого-то детского парка? Причем здесь вообще карусель? Я видела таблички «БЕРЕГИСЬ ПОЕЗДА!» и «НЕ ПРЫГАТЬ С ПЛАТФОРМЫ!», когда мы с Дантесом стали так близки, что он показал мне электрички, и их тамбуры, и чистил апельсинки в дороге... Но «НЕ СЛЕЗАТЬ С КАРУСЕЛИ!» - это было сильно. Всё вокруг было пронизано неким неведомым и непонятным мне гротеском, вплоть до автобусных остановок. Мне вспомнились строчки из самой известной песни Babylon Zoo:

«I can't get off the carousel,
I can't get off the carousel,
I can't get off the carousel,
I can't get off this world.»¹⁷

¹⁷ Англ. «Я не могу слезть с карусели,
Я не могу слезть с карусели,
Я не могу слезть с карусели,
Я не могу слезть с этого мира.»

В большом супермаркете мы брали хлеб, и ели его там же, ожидая маршрутное такси, прикрывшись «карусельным» щитом, пока хлеб не остыл, я мяла его в руках, прежде чем съесть, согревала пальцы. Потом мы ехали домой, в коридоре жили и правили кожаная куртка И. и моя шляпа Джека-Потрошителя. Мы возвращались в Черные Сады, в наш поселок, мимо все тех же вековых складов и ангаров, мимо полей, над которыми туманная дымка уходила на запад, мимо столбов линий высоковольтных передач, мы вваливались в наш дом, одним местоимением ставшие я и Дантес, и раскладывали покупки, неизменно при встрече на углу комнаты целуя друг друга, мы обживали Черные Сады.

Одним местоимением я и он бесконечно сидели на кухне, так как это была самая теплая комната, и, чтобы еще больше согреться, я расчерчивала мелком на линолеуме квадратики «классиков», прыгая по ним и по памяти при этом декламируя Гёте, И. смеялся и аплодировал мне, сидя на табуретке, я заставляла его повторять за мной строчки на немецком, потом на каждом выдохе мы читали вслух Гёте уже хором; одним крепким, с заглавной буквы написанным местоимением мы обживали Черные Сады.

- Обещай, что никогда отсюда не уйдешь, - попросил меня Дантес.

- Обещаю, что никогда отсюда не уйду, - ответила я.

Чеховское ружье висело на стене спокойно.

Глава 14.
Детки в клетке

*«Я не могу без тебя жить!
Мне и в дожди без тебя – сушь,
Мне и в жару без тебя – стыть.
Мне без тебя и Москва – глушь.*

*Мне без тебя каждый час – с год;
Если бы время мельчить, дробя!
Мне даже синий небесный свод
Кажется каменным без тебя.*

*Я ничего не хочу знать –
Бедность друзей, верность врагов,
Я ничего не хочу ждать.
Кроме твоих драгоценных шагов.»*

(Н.Асеев)

О ты моя первая и последняя великая любовь Нет это ты моя последняя и первая великая любовь Нам надо купить хлеб будильник сахар масло Корицу мы попросили у фрау Нахтигаль хозяйки дома поздно вечером чтобы нам сварить глинтвейн и вылечить насморк первых осенних заморозков мы будем пить это горячее вино с корицей гвоздикой лимоном греть невнятным теплом наших угловатых холодных рук-ног синтетическое одеяло будет нас греть и какую боль доставит увидеть в другом эти гриппозные симптомы мы будем кутаться в шерстяные вещи не по форме в промежутках между сменами мы будем пить чай и греться четырьмя одновременно зажженными конфорками газовой плиты на кухне синий огонь подсушит вещи на вешалках они успеют высохнуть до начала рабочего дня Ночью мы будем спускать воду в ванной минут по пятнадцать они во дворе разрыли трубы мы будем ждать пока не пойдет горячая вода

На автобусной остановке возле Карусели горячий хлеб и под дождем мы будем отламывать его руками и есть всухомятку Ты будешь хлебушек? На остановке тоже всегда холодно продувает белый свежеевыпеченный хлеб в пакете с логотипом супермаркета Мы будем ждать автобус и под дождем есть хлеб он будет остывать и вместе с дымом сигарет пар изо рта вот и осень пришла поверить не могу надо же

Быстро и медленно время летит и тянется Городок в общем ничего только не продают того чего нужно чемодан на колесиках нам нужен за таким придется ехать в Большой Город у нас нет времени у нас нет времени ехать туда нам бы выспаться хоть чуток перед работой у нас нет денег свободных денег да и просто у нас нет денег мы не купим тот красивый будильник стилизованный под девятнадцатый век резной деревянный мы купим дешевый будильник желтый пластмассовый звенит и ладно в сущности какая разница это уж точно у нас пока нет денег потерпи да мне и не страшно у нас нет денег нет у нас *пока* нет денег потерпи все будет да мне и не страшно

Не страшно не страшно не страшно только страшно хочется спать или бежать на скорость мимо соседней деревеньки с заборами чтобы успеть на первый автобус в пять

утра доехать в аэропорт мы на смене заработаем себе на такси мы заработаем на ботинки и на серебряный череп брелок на мобильный Мы будем спать целый день после ночи в каменоломне расфасовывания жратвы а ночью мы будем учить иностранные наречия и слушать лекции о Гегель Кант о Макиавелли я тоже теперь его люблю как и ты Мы будем просвещаться

Никогда не слезать с карусели!

Не хватит глюкозы доселе никогда не пившие горячие напитки с сахаром мы кладем по два кубика рафинада в кофе в чай вприкуску с молочным шоколадом или иными сладостями мы будем пить его со сливками с медом чтобы не оступаться больше чтобы не оступиться и не заболеть у нас же нет лекарств а до аптеки ехать далеко а больничный брать нельзя потому что не будет денег у нас и так их нет как и времени мы хотим сходить в кино впервые как было бы здорово сходить в кино мы не пойдем в гости они наши знакомые могут нас сглазить и поэтому в дом тоже никого не пустим иначе они нас сглазят ведь они будут завидовать ведь никто из них никогда так не любил никого как мы

Занимая одно место на двоих на низком диване переплетя пальцы мы будем говорить мы будем говорить и говорить и говорить и в конце концов даже бояться говорить потому что не бывает большего счастья и будет страшно что оно закончится катастрофой большим многомачтовым кораблем перевернется и пойдет на дно мы мыслим такими аллегориями прежде чем уснуть когда уснуть невозможно

Многомачтовых кораблей осенние ночи тянут на дно там и легко спрятаться зарыться от всех подальше от любопытных глаз никому никого не покажу не отдам никому закопаю в углу никому не дам и глазком взглянуть а то быть беде сколько я ждал тебя сколько я тебя ждала сколько препятствий мы одолели никому нельзя видеть нас в доме на опушке леса у самой Горы в доме со сломанными форточками и вазой рафинада на кухне Мы ступаем осторожно по границе нашего мира и Большого Города, на пограничной остановке Хочешь тепленького хлебушка? Поедем на работу поедем домой поедем в магазин пойдем в лес Никуда больше никуда вдруг кто увидит они проклянут нас они нам обзавидуются В лесах у Горы собирать грибы смотреть по иллюстрациям в энциклопедиях не ядовитые ли они Алеет рябина гроздьями У нас есть рядом магазинчик газетный киоск и парикмахерская Потерпи все будет А мне и не страшно

Скрипучие пыльные будки при железной дороге руки шлагбаумов открывают свободный путь на Взлетной так называется эта станция к нам не идут поезда пройти пешком на скрипучих ногах стершихся шарнирах после такой напряженной смены словить тачку сегодня не наш день завтра будет наш день и мы заработаем на такси Мы будем ехать цитата Пригрелись в маршруточке кавычки закрываются открываются Пригрелись в маршруточке кавычки закрываются цитата

Заработаем и пойдем в кино в музей который вечно закрыт поедем на теплое море отдохнуть пофотаться старая духовка и плохие сковородки на них все пригорает у нас есть три вилки три ложки три чайные ложки три кружки три тарелки и все третье на случай если кто пожалует в гости но это так мы-то никого к себе не позовем это наш мир наши Черные сады почитай мне на немецком почитай мне вслух на немецком почитай мне вслух еще пару минут ты завел будильник на утро я завел будильник любовь моя о ты о ты о ты жизнь моя о ты мое любимое небо о ты любовь моя почитай мне пожалуйста еще чуть-чуть вслух на немецком

Дождик идет Мы пойдем в лес выглянет солнышко туман окутал Черные Сады как приходим надо тут же включать газ чтобы прогреть кухню персональный камин Рыжие

котики в деревне с заборами растут так быстро играют с солнечными зайчиками телевизор ничего хорошего не покажет когда будет нечего делать поедим в Большой Город и единым же мигом задохнемся от смога тут ни в одном ларьке ничего не сможем купить Скажи а мы теперь бедные что ли? Потерпи все будет. А мне и не страшно. Мы теперь бедные да? Нет Да мне не страшно Разве я же вижу ничего ты не видишь вдруг кто увидит мне пофиг а тебе мне тоже пофиг главное что ты теперь со мной не только это главное что ты меня любишь а ты а я я-то тебя всегда нет я тебя всегда люблю нет я нет я

Любимая жизнь любимое небо мое моя моя моя любимая жизнь судьба моя нет это ты нет это ты Надо купить стиральный порошок скатерть на этот уродливый стол и твои волосы черные какие же у тебя красивые черные волосы отвечать мы оба такие красивые боже да мы самые красивые в мире черноволосые и худые мы круче всех нет никого кто бы сравнился с нами и еще у меня есть ты а у меня есть ты худые все крутые всегда были худощавыми и темноволосыми настоящие художники а я скажу проще самые счастливые люди в мире он нам принадлежит и не только мир но и его потолок это небо все небо наше и Гора принадлежит нам а Гора и небо могут сдаться только по-настоящему счастливым двоим ты вторая часть моего мозга а ты лучшая половина всей моей жизни

Там раньше никто не смеялся над моими шутками сказал он сказала она там раньше никто не шутил смешнее сказала она сказал он Во двор приехал красный мерседес нехилые тачки тут у народа в Черных Садах присвистнули

Мы будем удивляться количеству падежей в финском языке зарплате на заводе трагедиям с большим количеством жертв стоимости подержанных автомобилей трудовому стажу начальства крепости и густоте черных волос гениальности Моцарта раннему времени закрытия магазина «Продовольственные товары» пустоте шоссе глине и грязи по пути домой негорящим фонарям Мы будем удивляться простому объяснению загадки человеческой души в каббале идее избавления от эгоизма глупости этих мещан-обывателей вокруг нас они такие тупые такие никчемные им нас не понять мы самые умные здесь мы самые умные на земле и в небе тоже не забывай про небо никогда не забывай никогда про небо *memento mori* никого нет умнее и красивее нас с тобой

Коржиком пригорит желаемая пицца в нашей древней духовке это взять с собой в обеденный перерыв покушать как дует ох как дует в спину чертов ветер Хочешь тепленького хлебушка? Испечем грушевый пирог яблочный пирог вкуснотень самое оно если запивать подслащенным чаем а потом сызнова слепим вареников но половину теста оставим в холодильнике мы запасливые мы умные взрослые люди

О а как же смерть Вдруг там за развернутой пропастью за холодным рельсом бездны они нас сумеют разлучить *Memento mori* Если ты умрешь раньше меня молчи заткнись я говорю ты никогда не умрешь раньше меня а я в свою очередь не позволю тебе умереть до меня если я умру раньше я буду защищать тебя с того света оберегать тебя и сниться тебе Да что ж ты замолчи немедленно замолчи перестань Да что ж ты ну не плачь пожалуйста умоляю только не плачь я же не всерьез я так абстрактно

Стиральный порошок и японский зубной порошок хорошо отбеливает воротники классно отбеливает зубы бросить курить что ли даже бросить курить можно ну-ну на спор проиграешь на спор смогу бросить так уже было бросить курить легко и у меня тоже однажды почти получилось бросить ну может на самом деле к черту сигареты не сможем сможем не сможем сможем на спор давай на спор а если не получится? А если не получится то я тебя люблю

Врубай лекцию я сяду здесь ты хочешь прилечь вот так хорошо слышно на такой громкости я буду записывать основные тезисы а потом обсудим ага стоп сорок минут уже послушали запомни место я расскажу связанную с этим историю из жизни давай кофе три часа ночи какой кофе а какой смысл уже ложиться спать окей кофе поставь чайник так вот слушай что было однажды давным-давно постой дай мне сигаретку

Разве никто не говорил тебе раньше о твоём великолепии А тебе разве никто не говорил о том что тебя ждёт великое будущее Ну Ну Ну что ну Это потому что замысел Творца удался наконец нас ждёт великое будущее мы божественны мы рядом и мы не можем спать не можем работать как роботы не можем жить рутинно мы можем говорить и говорить и говорить ради этого и стоило всем рискнуть чтобы только круглосуточно и свободно говорить с тобой А как же иначе Скажи разве может быть иначе Мы будем жить долго мы умрем в один день как все эти боголепные парочки хотели до нас да не смогли а мы точно умрем в один день а до этого будем разговаривать такие умные такие красивые такие безмерно великие и крутые Клянусь тебе И я клянусь тебе Клянусь небом клянусь землей Мы с тобой никогда не расстанемся

Постреляют дни рабочими сменами красная тонкая стрелка на будильнике алеет во дворе рябина гроздьями не закончится сахар в чае осадком ляжет на дно чашечки ты о великая любовь моя нет ты нет это ты а я говорю это ты нет я же говорю что ты не спорь со мной это ты нет поспорю это ты моя первая и последняя великая любовь.

Глава 15.
Arbeit macht frei¹⁸

*«Ай, дабль, даблью.
Блеск домн. Стоп! Лью!
Дан кран – блеск, шип,
пар, вверх пляши!
Глуши котлы,
к стене отхлынь.
Формовщик, день, -
консервы где?»*

*Тень. Стан. Ремень,
устань греметь.
Пот – кап, кап с плеч,
к воде б прилечь.*

*Смугл – гол, блеск – бег,
дых, дых – тепл мех.
У рук пристыл –
шуруй пласты!
Медь – мельк в глазах.
Гремит гроза:
Стоп! Сталь! Стоп! Лью!
Ай, дабль, даблью!!!»*

(Н.Асеев, «Работа»)

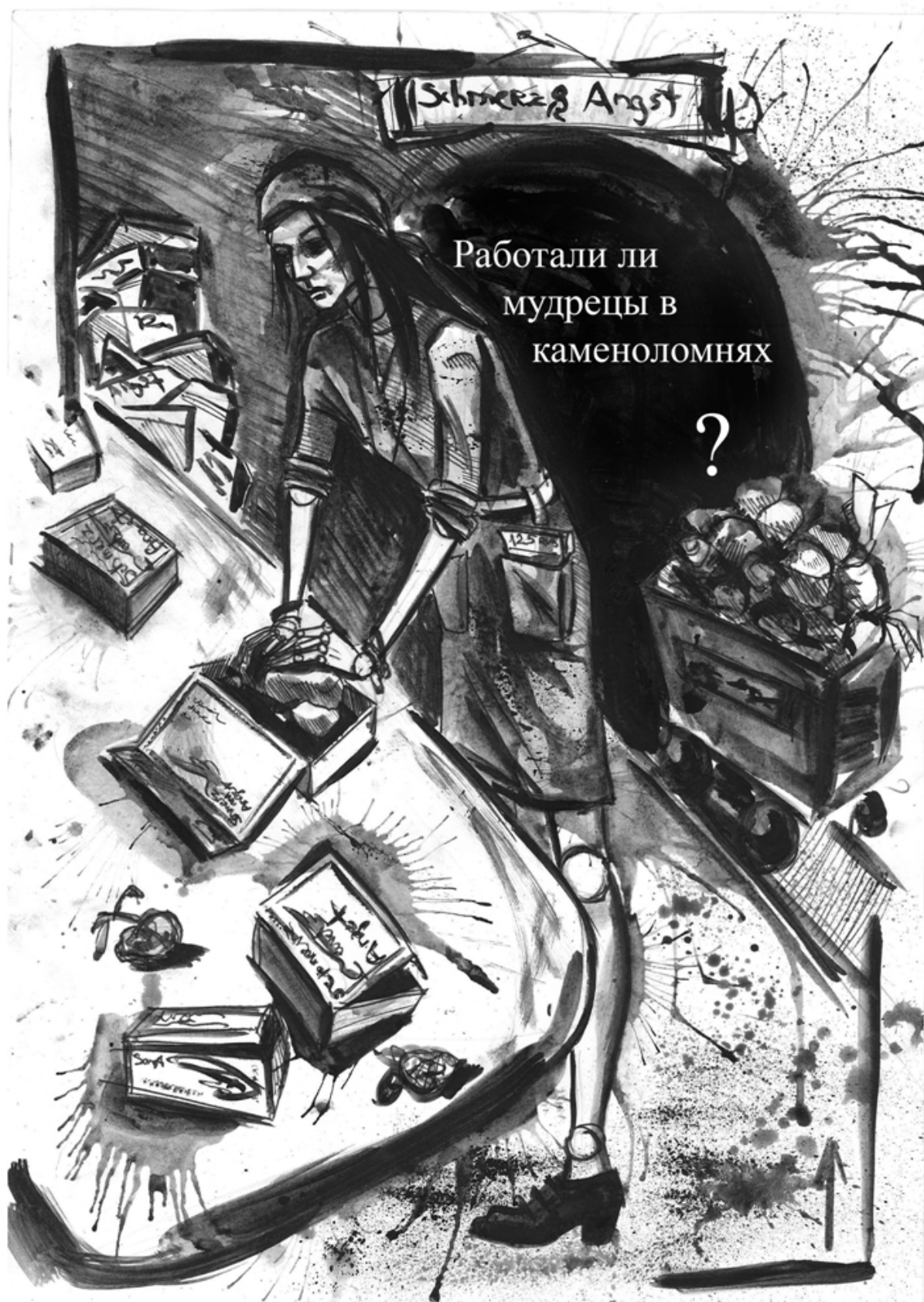
Работали ли мудрецы в каменоломнях? Фольговые коробочки с горячим питанием, на профессиональном сленге «касалетки», едут в свои жесткие кровати, на тяжелые противни, тех противней наберется несколько штук, точное количество определяется пассажирской загрузкой на рейс, и они так же войдут в свою жесткую кроватку – по дорожкам, высеченным на стенках, прямоком в громоздкий контейнер.

Я смотрю на еду круглосуточно. Днем или ночью, в зависимости от смены, я смотрю на еду воочию, наяву, осязаю ее и обоняю, а во вторую половину суток я вижу во сне эти нескончаемые вереницы касалеток, отправляемых нами в дальние края. Я шлепаю наклейки на крышечки касалеток: синяя обозначает рыбу, желтая – курицу, красная – мясо. Вдыхая пары бортовой пищи, не могу позволить себе есть дома, но надо притворяться, что все окей, что я нормальный человек. Иначе меня спишут за профнепригодность. Им нужны люди с хорошим аппетитом, они и так постоянно замеряют меня и взвешивают на медкомиссиях, после чего подозрительно косятся и перешептываются. Я кладу в карманы связки ключей, надеваю три свитера и только в таком виде встаю на весы, а эти эксперты все равно недовольны. Тогда я пытаюсь абстрагироваться, например, втыкаю в уши плеер, пока работаю одна на конвейере, и

¹⁸ Нем. «Труд освобождает», надпись, висевшая на воротах немецких концентрационных лагерей.

получаю за это очередной выговор. Работник должен слушать только перестукивание серебристых шкатулочек с едой на пути в опломбированный самолетный сундук. Частенько я напоминаю себе героиню Бьорк из «Танцующей в темноте», работавшую на заводе. В фильме она слепнет, а я глухну.

На одном из обеденных перерывов (и такое издевательство бывает) я вышла в здание аэропорта, чтобы купить сигарет. У табачного ларька я случайно познакомилась с Клео.



Работали ли
мудрецы в
каменоломнях

?

Стюардесса Клео красила ногти лаком оттенка №666 «Dracula», а помада на ее вишневых губах носила название «Sehnsucht»¹⁹. И она была безумно похожа на Одри Хорн, мою любимую героиню сериала «Твин Пикс». Совокупности трех этих факторов хватило, чтобы мне снесло крышу от нового знакомства.

Клео – богиня, у нее были потрясающей красоты волосы, блестящие и черные, как смоль, в руках она везла чемоданчик на колесиках Louis Vuitton, а на плечике – сумочку Chanel. Ручаюсь, Клео, как и все продвинутые стюардессы, очень богата. Из зарубежных поездок она постоянно привозила разные стильные вещи, на среднем пальце правой руки у нее перстень из белого золота в виде морской звезды, и даже брелок на мобильнике Клео дизайнерский, сделанный в Монте-Карло, с гарантийным талоном на несколько лет.

Клео была сногшибательно красивой. Она была крутой, как рок-звезда от авиации. Когда мы разговорились, выяснилось, что раньше я и Клео были практически соседями: из ее окон тоже был виден Шпиль, до центра пешком пройти занимало минут пятнадцать, а теперь она тоже переехала поближе к Горе, чтобы не тратить много времени на дорогу до аэропорта и живет в собственном трехэтажном коттедже рядом с деревенькой, в которой полно заборов, рядом со станцией «Взлетная». Однако, Клео и не знала ничего о существовании такой станции. «Вообще-то я всегда езжу на автомобиле», - даже при одном упоминании об общественном транспорте она морщилась.

На лацкан ее пиджака была приколата эмблема «Schmerz und Angst», а рядом с ней – именной бэйджик «Kleo». Я готова была бы любоваться на нее сутки напролет, а время обеденного перерыва так быстро подходит к концу. Мы договорились не упускать друг друга из виду, конечно же, когда Клео будет здесь, а не в командировке где-нибудь на Мальдивах или в Доминикане. Я осталась ждать ее здесь, на земле, в своем цеху, ждать новостей и фотографий из жарких стран, завидовать и каждый день вновь и вновь идти на работу. Ведь каждый день я хожу на работу, и, пока я иду, мне совсем не хочется есть, а это значит, что я вновь победила.

Я бы поместила Клео на обложку какого-нибудь журнала о fashionistas. Она была такая лаковая, такая отретушированная, такая ослепительная сама по себе, что все сворачивали шеи ей вслед, когда она дефилировала по аэропорту.

- Где ты работаешь? - спросила меня Клео.

- Эээ... - мне было стыдно, - в бортипитании.

- Печиво? Ну понятно.

Так, слово «печиво» характеризовало мой вид деятельности. «Ребята, это Кристабель. Она из цеха по печиву», - так позже представляла меня Клео своим знакомым пилотам, проходившим мимо, и мне каждый раз хотелось сквозь землю провалиться. Хотя «печиво» звучало веселее, и иногда я мысленно заменяла его на «плачиво», ожидая по утрам автобус на остановке «Гора». Я ехала в автобусе в распахнутые объятия двух железнодорожных деревянных стражей, и меня ожидала очередная смена с печивом-плачивом.

¹⁹ Нем. «Тоска, страсть, томление по чему-либо, острое желание чего-либо»; один из основополагающих терминов в немецком романтизме.

Клео была моей ровесницей. Noch einmal!²⁰ – у нее были потрясающей красоты волосы. Только у Клео и молодого Джимми Пэйджа были такие волосы. Она сказала, что здесь, в этой компании ее ничего не держит, да и вообще, она не так материально зависима, чтобы вкалывать как проклятая. Клео пришла сюда работать для того, чтобы написать книгу об авиации. Черт, сколько же вокруг писателей развелось, зеленому яблоку негде упасть. А Клео сочиняет роман, авиационный роман, вместе со своим напарником, тоже бортпроводником, они летают вместе, на одном самолете, и раньше жили вместе, Клео сказала, она сочиняет роман о том, как живет бортпроводникам.

Например, о том, каким невероятным спросом на борту пользуется томатный сок или что-то вроде того, я плохо запомнила... Она рассказывала мне сказочные истории про далекие края, которые я записывала на диктофон, и некоторые из них потом перегоняла на бумагу. Клео привозила мне магнетики на наш с Дантесом холодильник из всех городов, куда она летала. Клео была абсолютно богатой, и у нее была идеальная прическа. Она никогда в жизни не стояла на расфасовке касалеток, она была легка, как перышко, девушка с неба, и наша фольгой скрежетавшая рутина ее не касалась. Вот если бы и я тоже могла бы стать стюардессой... Дантес однажды сказал: «Кристабель, эти идиоты в отделе кадров просто не знают, кого потеряли. С твоим умом и внешними данными ты бы стала самой лучшей стюардессой, какие еще не встречались ни Хельге, ни Герберту!» Было бы так здорово тоже летать вместе с ними, с этими прекрасными экипажами... И летать вместе с Клео, ходить с ней по магазинам, о черт, повидать другие города, даже побывать в Вене!..

Клео пообещала замолвить за меня словечко, когда в службе бортпроводников откроют набор новых кандидатов. А до этого она учила меня премудростям своей профессии. Рассказывала про пледы с подушками, про опломбированные сумки и телеги, и про груз, конечно же, про багаж и про груз.

- Больше всего мне нравится отвечать за груз-багаж. Здесь ты чувствуешь, как много от тебя зависит, - начинала свой сказ Клео, - zum Beispiel²¹, наземные службы зачастую неверно рассчитывают центровку. А про грузчиков я вообще промолчу. Когда ты ответственен за груз-багаж, тебе следует, прежде всего, зайти в кабину летного экипажа и узнать, сколько килограммов в какой отсек грузить. Простейший пример: если бизнес-класс пустой, то весь груз и наверняка весь багаж мы разместим в переднем отсеке. Если не соблюдена центровка, то дело может закончиться катастрофой, а пилоты не могут спуститься и посмотреть, сколько килограммов-центнеров-тонн куда помещено, так как обычно эта процедура происходит минут за двадцать до самого взлета. Однако, сам ты не прикасаешься ни к багажу, ни к отсекам, а осуществляешь лишь зрительный контроль за погрузкой и перешелкивая на счетчике циферки, сигнализирующие о количестве загруженных на борт чемоданов. Затем тебе приносят документы, ты сверяешь количество указанное с действительным и, если оно сходится, ставишь свою подпись. Грузчики закрывают люки багажников, ты вновь поднимаешься в кабину, докладываешь, а затем уже можно выкинуть бутылку с кипятком и занимать свое место.

- Бутылку с кипятком? – недоуменно переспросила я.

- Ну да, а что? – удивилась Клео, - это же что-то наподобие самодельной грелки. Пока стоишь под бортом, обнимаешь эту бутылку и более-менее согреваешься. На поле всегда

²⁰ Нем. «Еще раз!»

²¹ Нем. «Например».

суровый ветер, а в холодное время года там можно и вовсе околеть. Холод жуткий. С сентября начинаешь подкладывать в туфли салфетки, спускаясь под борт, до самого перехода на зимнюю форму. Хотя во внебазовом аэропорту, уже после прилета, контролируя выгрузку, можно не брать с собой бутылку, а встать около двигателя, еще раскаленного, и погреться у него... Руки хорошо греть у двигателя, в перчатках, разумеется, чтобы не обветрились... На здоровых самолетах, таких, как Боинг-747, багаж привозят в контейнерах, и ты ничего не считаешь, а лишь визуально контролируешь погрузку. Там можно спрятаться под брюхо самолета, где печка, оттуда дует горячий воздух. Но на маленьких лайнерах вроде Боинга-737 приходится иногда буквально коченеть, поэтому вытягивать сведенные холодом руки к двигателю – это просто жизненно необходимо, чтобы избежать обморожения, ведь процедура груз-багажа может растянуться на очень долгое время, так как чемоданы могут вовсе снять с рейса, и, пока грузчики будут искать в отсеках нужные две бирки из ста пятидесяти, нам, стюардессам, придется стоять и стоять на продуваемом всеми выюгами и освистанном всеми вспомогательными силовыми установками летном поле.

Немного помолчав, моя красотка-бортпроводница добавила зловещим шепотом: «Иногда мои кисти рук багровеют на аэропортовском морозе так, что никакие перчатки или раскаленные двигатели уже не спасают...»

Я устала на холеные наманикюренные словно живым кровавым вином пальчики Клео, сжимающие портсигар из чистого золота. Если уж она вынуждена, и причем нередко, трудиться в таких условиях, то что говорить обо мне? Определенно все мудрецы всегда работали исключительно в каменоломнях...

* * *

[дальнейшие несколько глав будут представлять собой рассказы Клео об авиации, о путешествиях и о перипетиях ее нелегкой воздушной жизни]

Глава 16.
Клео в островах

*«Я – хозяйка крылатой квартиры,
Приглашаю приветливо в дом.
Здесь гости мои – пассажиры,
Всегда у меня под крылом.
И гул самолета мне кажется песней,
И я напеваю ее на лету,
О том, как работать легко в поднебесье,
На самом высоком мосту.»*

(Ю.Кадашевич, «Песня стюардессы»)

«Мы роем могилы в небесных пространствах, где лежать не так тесно...»

(П.Целан, «Фуга смерти»)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ ИНФЕРНАЛЬНОЙ СТЮАРДЕССЫ КЛЕО:

Когда я начала летать, великой радостью было просто урвать в иллюминатор кусочек неизведанной земли, зеленого бархата Великобритании, когда идешь на посадку в Хитроу, или новые моря островов, освещенных созвездием Южного Креста. Теперь даже в социальной сети мои фотоальбомы перегружены фотографиями Мальдив, Маврикия или Пунта-Каны.

Господин Манн, мой шеф, распевал песни Джима Моррисона в нашей узенькой буфетно-кухонной стойке, то и дело травил анекдоты и вспоминал различные забавные истории, чтобы хоть как-то успокоить взволнованную меня. Он спрашивал: «Клео, кто твой любимый философ?» Я ответила, что Макиавелли. Тогда Манн сделал вид, будто не понимает, о ком идет речь: «Макиавелли... это тот, который грузин?» Мы хохотали втроем: я, шеф и Монсьер Дантес, мой бывший молодой человек, тоже бортпроводник. Мы летали вместе каждый рейс, я и Дантес, даже после расставания, ведь нам так удобно работать вместе. Я завязывала ему галстук «Schmerz und Angst», и мы выходили на проспекты широких витрин – на взлетно-посадочные полосы, за тонированные стекла терминалов, под шум двигателей, мы шагали нога в ногу из рейса в рейс, демонстрируя стройным рядам полных пассажирских кресел аварийно-спасательное оборудование на борту, вдвоем мы улетали так далеко.

Наш шеф-инструктор Манн продолжал то и дело нас разыгрывать. Полетев в свою первую эстафету в Рио-де-Жанейро, мы все были предупреждены о том, что обратный рейс запланирован на четверг, встречаемся перед вылетом на первом этаже гостиницы, в восемь утра. Мы замечательно проводим время, катаясь на такси по окрестностям, фотографируя главные достопримечательности Рио, обхаживая все магазины и рестораны. И вот, в среду, с утра пораньше кто-то очень зло стучит кулаком в дверь нашего номера. Дантес, полусонный, едва одетый, плетется открывать – на пороге стоит Манн, весь кабинный экипаж, и оба летчика, командир и второй пилот. Все – полностью в сборе, с

вещами, одетые на рейс. Дантес в ужасе поворачивается ко мне: «Клео, вставай!» Манн скидывает руки:

- Вы что, решили всех подставить? У нас вылет через два часа, транспорт уже ждет, все готовы, одних вас ждем!

- Постой, мы же договаривались на утро четверга, - пытается что-то сообразить Дантес.

- Какой четверг? В среду улетаем, сегодня! Всех ведь заранее оповестили! – кричит взбешенный Манн и, развернув в нашу сторону запястье с циферблатом, стучит по нему указательным пальцем, - через десять минут чтобы были внизу! Иначе – пеняйте на себя!

Остальные члены экипажа смотрят на нас с могильным холодом в глазах, командир раздосадовано качает головой, наконец, они спускаются вниз, тогда как мы с Дантесом, обезумевшие, начинаем кидать в чемодан все вещи, попадающиеся под руку, на ходу запрыгивая в форму, шеей – в петлю галстука, ногами – в черные туфли. «В четверг, все же говорили, что в четверг!» - бормочет Монсьер И. себе под нос, пытаясь вспомнить, где лежат наши документы и кредитки. За восемь минут мы проделываем невозможное – и вот, выкатываемся в коридор, каждый выручает другого, пока любимый толкает чемодан и возится с пластиковым ключом от номера, я пробегаю вперед двадцать метров и что есть силы давлую кнопку вызова лифта. Ровно через десять минут после визита наших коллег мы появляемся на первом этаже.

Картина, представшая перед нашим взором, не выдерживает никаких комментариев. Командир сидит в холле в шортах, читая журнал. Стюарды-стюардессы окружили барную стойку. А наш дорогой Манн еле держит пивную кружку, сотрясаясь от смеха:

- В четверг улетаем!... Вот вы повелись, ребята... В четверг!

Это был всего лишь один из его розыгрышей. Вообще господин Манн – один из лучших инструкторов в нашей авиакомпании. Он очень внимательно проверяет всю работу с точки зрения безопасности, но, в то же время, делает это не так сурово, как остальные, а с присущим одному ему неповторимым чувством юмора. Так, одной из коронных фраз Манна является (произносится после проверки всего салона перед взлетом): «Ну что, ребята-котятки, все хорошо, все зашибись?»

Бывали, конечно, и ужасные случаи. Как ты, Кристабель, знаешь, президент компании Герберт Ангст, всегда отличался строгим нравом. На всех предполетных брифингах, случись ему зайти к нам на разбор, он заставлял всех строиться в шеренгу, стоять по стойке смирно и отчитывал каждого, кто осмелился взять карамель «Взлетная» себе. «Если увижу, как кто-то сосет», - начинал он свой спич, и, выдержав эффектную паузу, прибавлял, - «...карамель. Так вот, если хоть раз увижу, то можете попрощаться с карьерой... а заодно и со своей жизнью!» При этом герр Ангст, страдавший извечным нервным тиком, дергал правым веком и буравил весь экипаж таким гневным взглядом, что мы стояли, ресницы в носки туфель, и не смели даже шевельнуться при нем.

Совладелица фирмы, Хельга Шмерц, имеет характер не лучше. Именно ее распоряжением насчет похорон Сереги, нашего любимого товарища, до сих пор можно пугать детей.

Известно ли тебе, Кристабель, что-нибудь о смерти бортпроводника, укравшего масло? История, конечно же, хранится под грифом «Geheim!»²², информация сугубо конфиденциальна, но в наших кругах все о ней знают. Так вот, иногда после обслуживания пассажиров в наших контейнерах и телегах остается куча невскрытых

²² Нем. «Секретно!»

продуктов, которые по прилету описываются как «грязь», сдаются под пломбами и выбрасываются. Ну, не мне тебе это рассказывать, ибо сей процесс как раз и происходит в вашем цехе бортипитания.

Многие из нас, если не все, постоянно забирают себе домой плавленые сырки, фасованные сливки и датское масло в маленьких коробочках. В этом ничего зазорного нет, хотя выносить что-либо с борта категорически запрещено. Но этот промысел бортпроводников столь же древен, сколь существует сама профессия, так что собирательством из полутелеги с «грязью» запечатанной штучной провизии никого не удивишь.

Серега, наш с Дантесом друг-стюард, спрятал в карман своего фартука пять упаковок масла, когда с ним случилось несчастье. Действительно большая небесная катастрофа с капитальным разломом фюзеляжа. Об этом мне не хочется вспоминать даже, но я в силах рассказать о последствиях. При опознании выяснилось, что тело Сереги практически не повредилось, как и его одежда, и кто-то особо прозорливый даже нашел фрагменты этого несчастного масла у покойного бортпроводника. При всей траурности ситуации Хельга Шмерц пришла в жуткую ярость и дала распоряжение «похоронить стюра по-стюровски» (читай «собаке собачья смерть»). Труп несчастного запихнули в телегу с бортовым питанием (к счастью, пустую), с обеих сторон опломбировали так, чтобы номера этих пломб совпадали с датой рождения усопшего с одной стороны, и датой смерти – с другой. На дверцу телеги также прикрепили ярлык с основными вехами на жизненном пути, список состоял, в основном, из жалоб, замечаний и служебных записок «Schmerz und Angst». Эту телегу закопали за стоянкой списанных самолетов. По сию пору некоторые очевидцы этих «похорон» содрогаются при одном лишь воспоминании...

Впрочем, хватит о грустном. Что еще может интересовать мою подружку из цеха печива? Кристабель, я, как и все в аэропорту, подписана на газету «X-Avia», зачитываю до дыр каждый выпуск. А тебе приходят свежие экземпляры раз в неделю? Ведь по распоряжению Хельги и Герберта эта газета должна стать нашим единственным чтивом, своеобразной культурной отдушиной, дабы внимание сотрудников не отвлекалось на кинотеатры и клубы. И, конечно же, чтобы никто втихаря не стаскивал с самолетов прессу, предназначенную лишь для тех, кто заплатил деньги за билет. Все, что попадает в «X-Avia», подвергается жестокой цензуре, и, надо признать, что это действует на благо нашей локальной периодике.

Я слежу за развитием событий в детективной новелле «Признаки пассажира электрички», отрывки которой публикуют в каждом новом номере газеты. Я даже вырезаю из каждого выпуска «X-Avia» очередной кусочек «Признаков». Сюжет заключается в том, что есть некая Мира – она киллер, но убивает в целях очищения мира от скверны, у нее есть девочка, которую она опекает, К., эта К. подрабатывает тем, что возит Миру на автомобиле по ее киллерским делам. Мира ловит всех тех, кто представляет опасность для ее семьи, как правило, это люди, имеющие мало денег и возможностей, но, однако, по непонятной причине, которая пока еще не раскрылась в новелле, очень и очень опасные. В последней «X-Avia», которую мне буквально сегодня принес почтальон, Мира признается в убийстве одной художницы, швабки Мартариозы из Аугсбурга, потому что та заставила К. возненавидеть все троллейбусы маршрута №63.

Это очень запутанная и интересная новелла, если вдруг тебе пока не оформили подписку на газету в цехе, я отправлю тебе с этим посланием отксерокопированный отрывок моей обожаемой детективной истории.

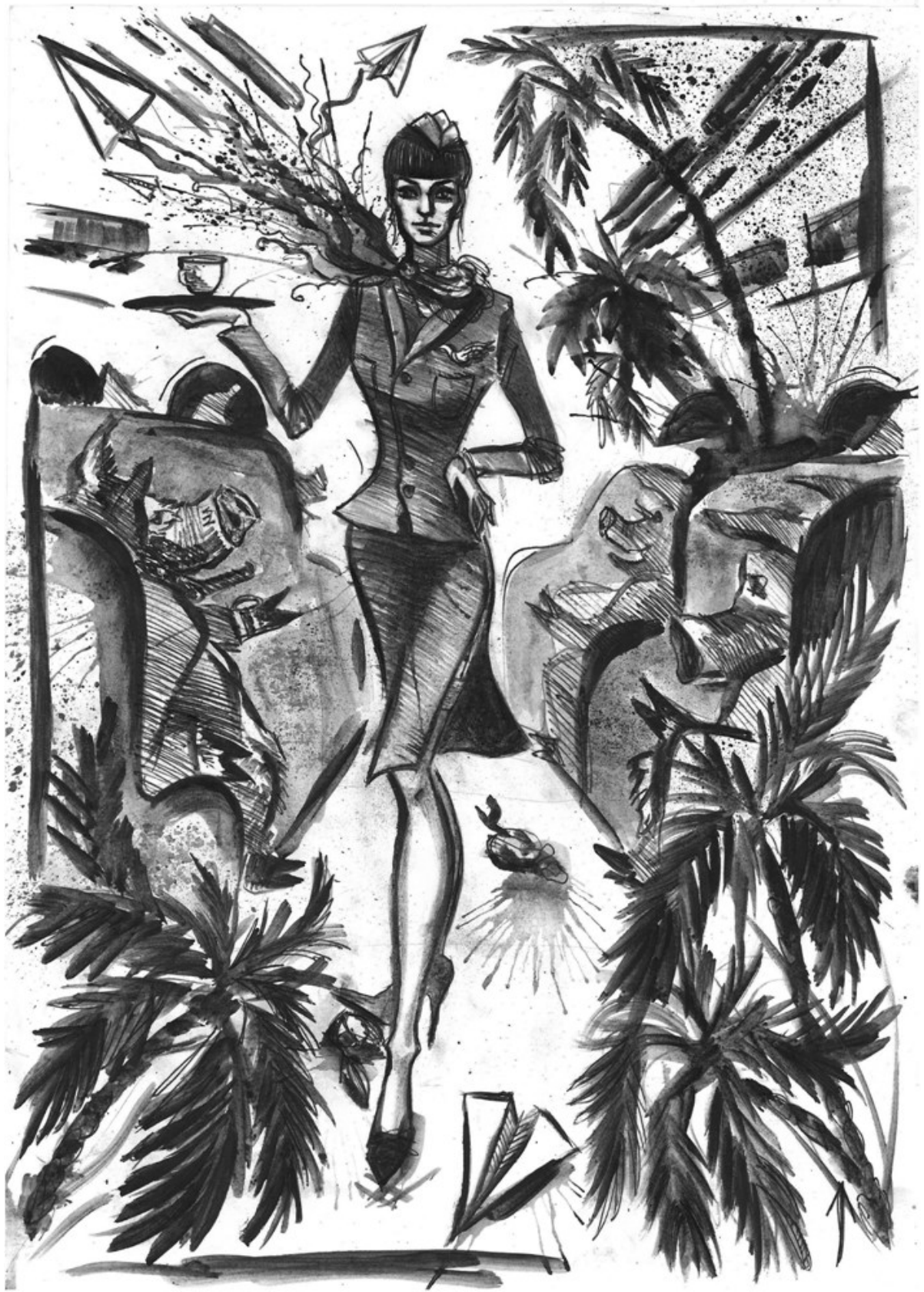
Не скучай, Кристabelle, на земле без меня! Скоро я прилечу, и мы обязательно встретимся!

Обнимаю. Твоя Клео.

«ПРИЗНАКИ ПАССАЖИРА ЭЛЕКТРИЧКИ: Мира против Марты

«Да! Я – та самая Мира, и я убью любого, кто рождается изначально злом. Но бывают люди, злом не являющиеся, однако, мешающие на пути других. Марта была лишним звеном, тогда как моя малышка К. железными крючьями впилась в это лишнее звено, валяясь на траве и мурлыча вверх: «Мартариоза, это небо такое же лазурное, как и твои глаза». Марта была наполовину немкой, с волосами Гретхен, она прыгала с железнодорожной платформы, чтобы не покупать билет, и каждый раз, убегая от контроллеров в соседний вагон электрички, напевала: «Fantastisch tru-la-la!» Марта родилась в ночь марта, ранней весной, за два дня до появления меня в жизни К. Та тогда меня и позвала, после вечеринки в честь совершеннолетия Марты, когда ни у кого не осталось сил, и что-то надо было решать с помощью оружия. Марта таранила небесно-голубые глаза в ледяное дуло пистолета. А К., в общем-то сама меня позвавшая, теперь висла у меня на руке: «Нет, Мира, нет! Не трогай ее, она хорошая!» Мне пришлось ударить К. прикладом, чтобы та, наконец, перестала вопить. Потом я застрелила Марту. С чувством выполненного долга я поехала в отель, ночевала в отеле для авиаторов, ведь я прилетела в эту страну всего на сутки. К. еще долго потирала ушибленную голову и бормотала что-то про «капитальный разлом фюзеляжа», хотя мне не хотелось причинить ей боль, это было необходимо, это было сделано в целях выживания. Мартариоза фон Лау, родом из Аугсбурга, столицы Швабии, была куда большим дьяволом, чем можно было предположить – она могла скрываться не только в электричках, но и в метро, и в троллейбусах. Я держала под прицелом каждый троллейбус шестьдесят третьего маршрута, пока не узнала, на какой остановке сходит Марта. Это была остановка «Механический завод». Если бы удача улыбнулась мне, то получилось бы пристрелить фон Лау прямо за зданием завода, а потом оттащить ее куда-нибудь за склад списанных станков. Увы, такой блестящий план провалился, и я прикончила ее прямо на улицах имени Ротшильда, в самом эпицентре пузырями и волдырями бурлящей жизни Города.»

(«X-Avia», выпуск от 12 сентября)



Глава 17.

Клео в отеле

«Тебе не надо выходить из дому. Оставайся за своим столом и слушай. Даже не слушай, только жди. Даже не жди, просто молчи и будь в одиночестве. Вселенная сама начнет напрашиваться на разоблачение, она не может иначе, она будет упоенно корчиться перед тобой.»

(Ф.Кафка, «Афоризмы»)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ ИНФЕРНАЛЬНОЙ СТЮАРДЕССЫ КЛЕО:

Сегодня я расскажу тебе о том, что такое резерв, Кристabelle. Резерв – это русская рулетка. Никогда не знаешь, что случится ближайшие пять минут. В любой момент может позвонить диспетчер, и ты полетишь то ли на жаркие курорты, то ли на крайний север. А пока я вкатываю чемодан, внутри которого чего только нет: от шерстяных свитеров до пляжного саронга. Мне предстоит провести в авиационном отеле двенадцать часов ночи или дня, в зависимости от того, какого времени суток резерв. Дневной резерв – с восьми утра до восьми вечера; ночной – наоборот.

Ходят слухи о призраке одной девочки-стюардессы, выбросившейся недавно из окна в отеле во время ночного резерва. Причиной самоубийства послужили, как ни банально, проблемы в личной жизни. С тех пор то и дело по службе меж экипажей рассказываются невероятные истории о том, как кто-то заселился в номер, и, проснувшись, обнаружил на соседней кровати сидящую в форме девушку. Безымянный свидетель спросонок поинтересовался, кто она, откуда прилетела или куда летит, на что в ответ получил холодное молчание. Стоило моргнуть или потереть костяшками глаза, как девушки и след простыл. Так призрак обходится с мужчинами. Других девочек суицидная душа предпочитает накрывать ледяными ладонями во время сна либо душить. После подобных столкновений с иным миром люди выходят утром из отеля, находясь в удрученном настроении и под весьма негативным впечатлением.

И впрямь что-то изменилось в отеле. Уют ковровых дорожек и вкусная еда не могут подавить общую нервозность, подвешенное состояние, неизвестность касательно того, предстоит ли тебе сегодня вернуться домой или же улететь за тысячи километров на неделю.

Я закрываюсь по макушку кремового цвета одеялом, и мне снится первый беспокойный сон о звонке диспетчера. Судорожно пытаюсь вспомнить, все ли вещи у меня с собой и сколько осталось еще не разменянной валюты на случай заграничной командировки. Годы идут, а я все никак не могу привыкнуть к резерву, слишком уж большое это для меня напряжение.

На прикроватной тумбочке рядом со мной остаются пепельница, планшет для чтения электронных книг, портсигар, бордовая помада «Sehnsucht» и мобильный телефон, на дисплей которого я смотрю каждые полминуты. Номера очень здорово обустроены, тут есть гладильная доска с утюгом – невероятно удобно, придумано как раз на случай ненавистного телефонного сообщения: «Вы летите туда-то таким-то рейсом, вам на сборы десять минут». В каждом номере есть возможность смотреть по телевизору онлайн-табло рейсов. На нем ты находишь свою авиакомпанию, пункт назначения, в который

ближайшее время должен осуществиться вылет, высчитываешь время явки и прикидываешь свою вероятность быть выдернутой из теплой кровати отеля, выдернутой из резерва; прикидываешь свою вероятность заменять кого-то неожиданно заболевшего или безнадежно застрявшего в пробке на выезде из Большого Города. Табло подмигивает своими переполненными информацией строчками, подмигивает ровно в такт твоему учащенному от волнения сердцебиению. Я гипнотизирую онлайн-табло в телевизоре, гипнотизирую дисплей мобильного, гипнотизирую наручные часы-наручники: прошел еще один час, вот, еще один час прошел...

Наконец, меня снова одолевает сонливость, и я вновь прячусь под тонкое одеяло, покров кровати, чтобы закрыть уши, не слышать непрошенных звонков, я проваливаюсь во второй беспокойный сон, выхожу на второй круг ада. На этой ступени мне снится незнакомый номер с последними цифрами 18 18. Я снимаю трубку. Диспетчер спрашивает, не желает ли Клео сделать перерыв. Я уточняю, что именно за перерыв. Оппонент предлагает особую услугу – релаксацию. Я заказываю перерыв, например, на час, но потом, после восьми, мне придется пробыть в резерве еще один дополнительный час, компенсируя тем самым время перерыва. Я отказываюсь от этой услуги, решив отстреляться сразу и не тянуть резину. Потолок плачет на меня белыми пудровыми слезами Пьеро, драматическим ревом штукатурки, капли густеют прямо в воздухе, зависают на полпути от моего тела, распластанного на кровати в беззвучной мольбе. Что-то нехорошее произойдет в соседнем номере, в номере 910. Или 912, не помню. От какого номера у меня ключ? Я достаю из внутреннего кармана пиджака ключ с выбитыми на брелоке цифрами 910, и тут же кладу его обратно в карман, убедившись, что память мне пока еще не изменяет.

Я разворачиваю еще теплый и свежий экземпляр газеты «X-Avia», вспоминая, какой теплый и свежий хлеб мы отламывали с Дантесом когда-то под дождем на остановке возле супермаркета «Карусель». Я пытаюсь читать свой любимый детектив, в котором Мира пытается установить признаки пассажиров электрички, в котором пассажир электрички должен быть убит. И да, Кристабель, я же рассказывала тебе о том, как эта немка, блондинка, баронесса фон Лау, она прилетела к нам из Швабии, из города Аугсбурга, она открывала здесь выставку, на улице имени Ротшильда, она – талантливый художник, эта Мартариоза. Мне снилось, что мы однажды ехали с ней в электричке, хотя я никогда не была в электричках, мы ехали, ты, Кристабель, в платке на голове, после смены в цехе, и мой Дантес, в форме стюарда он всегда выглядел почти пилотом, тем самым пилотом, на которого должны вешаться тоненькие встречающие с гирляндами цветов на шее, покуда он катит по коридору отеля свой чемодан; и я там была, стюардесса с открытки, и Мира там была, она служила в охране, она всегда была дочкой якудзы, моя мать Мира Дайхатсу; и Марта тоже ехала с нами. Мы ехали, ехали, стуча железнодорожными гробами, а потом взлетели. Над обрывом, не иначе. Каждый уцепился за поручни, я думала, только бы все телеги были поставлены на стопор...

Тогда Марта, моя старая знакомая, которую по сюжету новеллы «Признаки пассажира электрички» убивает Мира, оказывается ко мне так близко, что теснее невозможно, она говорит мне: «Клео, ты ведь всегда хотела всего лишь купить домик в Праге и писать книги?» Я вспоминаю Прагу, стобашенную, Собор святого Вита... Это главный собор, он стоит на вершине горы в Градчанах. Мы с И. познакомились в Праге, я заканчивала там академию художеств, а Дантес, тогда еще бедный музыкант, играл на флейте, ступая по канату, натянутому от шпиля Собора святого Вита до шпилей-близнецов Тынского

Собора на Староместской площади. Я смотрела на небо, по которому он шел, и он дул в свою флейту так, что этим ветром можно было завязать в узел Ратушу.

Тогда я спросила его:

- Otkud jseš?

- Jsem z Štěpnohořsku²³, - ответил И.

Там же мы пошли на курсы бортпроводников в Чешские авиалинии, а позже и очутились здесь, в «Schmerz und Angst». Нам пришлось расстаться из-за проклятья кавунов, о котором я расскажу тебе позже, Кристабель. И из-за социального неравенства, из-за него особенно нам и пришлось расстаться. Тогда еще Дантес бросил мне вслед: «Проще пойти фасовать касалетки в подвал с бортпитанием – мое призвание!» Видишь, при ином раскладе вы с ним могли бы даже познакомиться.

Третьим беспокойным сном мне снится не диспетчер, а Прага.

В Праге, в сочельник, я пересчитывала щипцы, которыми И. раскладывал на борту лимоны. Только щипцы, их из его рук я всегда так аккуратно вешала на кипятильники, с тех пор, как мы расстались. И вся предрождественская Прага, все Мефистофели, Яны Гусы, изломанные арлекины, актеры Зеркало («Зрцадло», совсем как у Густава Майринка!), чья кожа в Вальпургиеву ночь была натянута на барабан, все эти княгини Либуше, все эти Кафки – они жонглировали щипцами бортпроводника Дантеса, ступая по леске-волоску, привязанному к шпильям двух разных соборов, разделенных Влтавой двух берегов, пока он шел по небу, он всегда шел по небу. Пока я на занятиях по лепке, скульптурила что-то квазихудожественное, Монсьер И. поэтому называл меня «Клео Пигмалион», я так же огалатеивала его в ответ, в нашей краснокрышей Праге, на Виноградах, в Нуслях, в Вышеграде, в Малой Стране, в Градчанах, в Йозефове, на Староместком платце – там везде я училась, и училась, и училась, пока он шел по небу.

* * *

*Танцууй, Галатея,
Куланом гарцуя,
Подковы сбивай,
Опрокидывай чаши!*

*В порочный сочельник
Куражься в снегу,
Верхолазкой змеися
На стрельчатой башне.*

*Щипцами сверкай
В тесной кухонной стойке,
Под «Желтую реку»
Танцууй же, танцууй!*

*Танцууй, Галатея,
Домчи меня вьюгой,*

²³ Чешск. «-Откуда ты?
- Я из Степногорска.»

*Коняшкой степной
К гробовому венцу.*

* * *

Вот что такое резерв, Кристабель. Это русская рулетка. Ничего не делай, просто накрывайся с головой казенным одеялом, и жди, не двигайся с места, диспетчер сам тебя найдет и оповестит по телефону о твоей участи. В соседнем номере спит Дантес, я заходила к нему, когда он писал смс Алоизе, своей жене. Когда-то он оставил ее, как раз тогда мы и встретились с ним во Пражском Граде, но теперь он пишет ей о том, как скучает, как тоскливо ему в отеле, где стук резиновых колесиков багажа протяжным гулом едет по закоулистым коридорам на темных этажах. И я читаю комиксы о ретро-стюардессах, я читаю детектив в газете «X-Avia», я смотрю и смотрю в экран телевизора, включенный на канал с онлайн-табло вылетов и прилетов, тогда как в соседнем номере мой бывший возлюбленный смотрит «Адвокат дьявола» - эти фильмы всегда показывают не вовремя.

Обнимаю тебя, Кристабель, пакуй печиво осторожно и не перенапрягайся в своей каменоломне. Обнимаю тебя, Кристабель, пока на моей кровати сидит эта призрачная самоубийца, выкинувшаяся из окна в этом отеле – боже мой, как же я устала от всех этих гостиниц, отелей, постоялых дворов! – и она тянет ко мне руки, наверное, следуя байкам-страшилкам о самой же себе, хочет меня придушить. Она обнимает меня, а я почти засыпаю в который раз уже, я буду спать, пока не позвонит диспетчер, я буду в объятиях Морфея, обнимаю тебя. Твоя Клео.

Глава 18.

Гора II

«Желание познать мир, откуда взялась книга с незнакомыми буквами, не оставляло меня. В тот же день после обеда я отправился на заснеженный Петриин в надежде, что нападуг там на какой-нибудь след таинственного зеленого света. Я поскользнулся на заледенелых дорожках, я падал, я блуждал среди деревьев, и с их ветвей на меня сыпался снег, я перебирался через сугробы. Я вглядывался в гущу кустарника, сквозь разбитые окна и щели в закрытых ставнях смотрел в темноту домиков и запертых беседок, стоящих на склоне, но видел лишь разбросанные садовые инструменты, жестянки с краской и рваные бумажные мешки, из которых сеялся какой-то светлый порошок. К вечеру я сдался; уже совсем было собравшись спускаться к тропинке, ведущей к трамвайной остановке на Уезде, в маленьком овражке среди заснеженных деревьев я наткнулся на цилиндр высотой мне по пояс, на крышке которого лежала высокая шапка снега. В памяти мелькнуло воспоминание: когда мы детьми играли на Петриине в прятки, я несколько раз укрывался именно за этим цилиндром; тогда было лето, и цилиндр окружала густая трава. Я вспомнил, что все время пытался открыть окошко из ржавого металла, которое было в верхней части цилиндра и напоминало печную дверцу, но мне это так и не удалось. Наверное, здесь хранят песок или шлак, подумал я. На этот раз окошко, к моему удивлению, подалось, едва я потянул за ручку, и с протяжным скрипом отворилось. Я наклонился и сунул голову внутрь.»

(М. Айваз, «Другой город»)

Запись в дневнике Клео:

«На предполетный брифинг приходила Хельга Шмерц, глава компании. Она стала кричать что-то про мою прическу, которая не соответствует стандартам внешнего вида, про то, что пряди выбиваются и надо их закалывать невидимками. Я попыталась ей возразить, тогда фрау Шмерц ушла в инструкторскую, взяла канцелярские ножницы, она схватила меня за голову и нагнула вниз, она остригла мои волосы прямо там, в брифинговой, при всем экипаже. Никто за меня не заступился, все ее боялись. Я чувствовала себя очень униженной. Хельга Шмерц насильно состригла мои волосы при всех.»



ПРЯМАЯ РЕЧЬ ИНФЕРНАЛЬНОЙ СТЮАРДЕССЫ КЛЕО:

Тебе повезло больше, чем мне, Кристабель. Твой кошелек не трещит по швам от иностранных валют, и твои биоритмы всегда настроены на одинаковое время. Был один кошмарный рейс в Бангкок. Вообще я обожаю летать в Таиланд: шопинг, массаж, полный набор удовольствий, но долететь туда в этот раз нам стоило многих усилий. Во-первых, в самом начале обслуживания в переднем салоне затеялась настоящая драка, один хорошо выпивший пассажир напал с кулаками на соседа, подносы с едой полетели в разные стороны, кто-то ринулся разнимать дерущихся, я вызвала с верхней палубы сотрудников авиационной безопасности, двое сабовцев скрутили пьянчугу, он отчаянно сопротивлялся, они надели на него наручники, босой, он лежал в нашей буфетно-кухонной стойке, плевался в нас и крыл нецензурщиной, как мог, пытался извернуться и ударить представителей безопасности, те, в свою очередь, били его, дабы уgomонить, весь пол был испачкан кровью этого несчастного, было неприятно там находиться. Тогда Хельга Шмерц, которая полетела с нами, чтобы контролировать такую непутевую бортпроводницу Клео, подошла ко мне, она пригладила мне волосы, оставшиеся после того, что она сделала с ними за пять часов до этого на земле, пока я носком туфли елозила салфеткой по кровавому полу, пока сабовцы обезвреживали силовыми методами скрученного агрессора прямо в нашей стойке, Хельга закрыла мне руками глаза и сказала: «Не смотри туда, Клео, не смотри».

Мы сдали дебошира полиции в аэропорту Бангкока, но до этого произошло еще одно пренеприятнейшее происшествие. За полчаса до посадки, во время раздачи миграционных карт, пассажиры спросили меня, чем пахнет в салоне. Я вдохнула и почувствовала едкий запах краски. В ту же секунду раздался крик справа, я инстинктивно оглянулась и увидела, как сразу шесть человек повскакивали со своих мест. Все в том же первом салоне возле первой левой двери нагрелась обшивка, из-под нее стал идти дым. Первой мыслью пронеслось: движок горит. Еще несколько секунд и нам всем крышка. Вторая мысль: двигатель не здесь, загорелась проводка, садимся через тридцать минут, дотянем, успеем. Моя коллега принесла огнетушители, мы прощупывали все стены, наконец, мы приземлились на запасную полосу и, слава богу, покинули борт.

В парикмахерской отеля две очаровательные тайки с фенами и расческами приводили в порядок следы вмешательства Хельги Шмерц в мою жизнь. Ребята из экипажа пошли по своим делам, мы договорились собраться ближе к вечеру все вместе. Я бродила по торговым центрам Бангкока, невероятно одинокая, впервые в этой профессии безмерно одинокая. В витрине газетного киоска мой взгляд остановился на яркой обложке некоего дамского журнала под названием «Cleo». Я купила его, и продавщица уточнила, что журнал на тайском, а не на английском. Не знаю ни слова на этом языке, но нельзя же было игнорировать свою тезку. Позже мы встретились всем экипажем в фойе гостиницы, они наперебой хвалили мою облагороженную стрижку, отпускали шикарные комплименты, мы купили виски, колу, немного еды и завалились в один номер.

Нас было человек семеро. Выпили, поболтали о нелегкой, стали играть в ассоциации, веселились. Один парень давно уже встречался с девушкой из нашей же бригады, их ставили вместе в рейсы, а полная гармония их взаимоотношений хорошо влияла на работу в целом. Начнутся провозки, подумала я, возвращаясь в свой номер, из окна которого раскинулась панорама небоскребов. Начнутся провозки, новые знакомства и мое имя сотрется из памяти. Я же тебе говорила об этом, Кристабель, не так ли? Рассказывала про того бортпроводника, с которым мы работали вместе в небесных просторах?

Его зовут Е.И., сам себя он всеми никнеймами помечает как Дантес. Нас распределили по разным отделениям в начале, то было еще в Чешских Авиалиниях, в Праге. Офис располагался на холме Петршин. Я уговаривала Дантеса перевестись ко мне в тринадцатое отделение, но начальство не разрешило этого, поэтому пришлось переводиться мне в отделение трех шестерок. Потом мы написали заявление на совместные полеты. Долго ждали, пока в планировании нам состыкуют графики. Наконец, мы начали вместе летать, совсем как те парень с девушкой из моего экипажа в Таиланде. Мы четко и слаженно работали всегда, когда я выкатывала телегу в начало салона, И. раздавал подносы в хвосте самолета, таким образом, мы управлялись с пассажирами быстрее, экономя время и силы друг друга, я крутила чайные пакетики и раскладывала лимоны в стойке, пока он спокойно заполнял все свои документы, он приносил мне кипяток с лимоном и сахаром вниз, под борт, пока я стояла на принятии груза-багажа ночью где-то за Полярным кругом.

Я ведь рассказывала тебе про него, Кристабель? Я всем говорю одно и то же, а потом не помню, что кто уже знает.

Конечно же, все развалилось. А нам, людям из авиации, всегда легко с кем-то подружиться, разговориться, влюбиться даже. И. живет сейчас с кем-то, кто тоже работает в «Schmerz und Angst». Я не знаю, стюардесса ли она или диспетчерша, уборщица или шефиня, но она тоже здесь работает. Она тоже живет где-то неподалеку от порта, рядом с

Горой. Что за мода такая пошла всем селиться у Горы? Его нынешняя подружка все время где-то рядом, я ощущаю ее присутствие повсюду, хоть и не вижу ее. Ее имя начинается на мою букву, на букву К, как у Мириной опекуниши из «Признаков пассажира электрички», это я знаю точно, одним из совместных крайних рейсов, а мы по-прежнему летаем вместе, он писал этой К. сопливую смс на немецком: «Ich liebe dich, meine Liebe»²⁴ и прочая бурда. С каких это пор, интересно, он так шпарит по-немецки. В общем, ладно, не буду волновать тебя, Кристабель, еще и этим. Путешествие удалось на славу: драка, пожар, Хельга Шмерц меня обкорнала... Ничего не скажешь, веселая эстафета.

Прилетев сюда, докатив мой огромный гроб-чемодан до стоянки, двое дюжих мужиков закинули его мне в багажник; я повернула ключ, прогрела машину, пытаюсь отрезвить сознание земным притяжением после восемнадцати часов сорока минут эстафетного налета, я поехала домой, но на втором железнодорожном переезде, повинувшись дьявольскому неведомому умыслу, повернула не направо, а налево, и дорога сама привела меня к Горе.

Говорят, Гора скоро станет частной собственностью. На ней удобно расположить локаторы, вышки, будку диспетчеров даже. Землю эту, как оказалось, можно арендовать. Может быть, все это слухи, но говорят, что за Гору уже борются трое самых богатых людей наших краев. Вернее, не трое борются, а двое – с одной стороны, и один – с другой. Двое – это, конечно же, наша святая парочка: Хельга-парикмахерша и Герберт Ангст (Никогда не сосать карамели! Никогда не слезать с карусели!). Им, понятное дело, очень выгодно расширить территориальные границы своего аэропорта. Другой же, жаждущий заполучить Гору – мебельный магнат из Большого Города, некто Б. Зачем ему эта земля – неясно. Возможно, хочет соорудить здесь какой-нибудь завод. Елки-палки, доски, ДСП, и всё тому подобное. Вот такие новости я слышала, Кристабель...

На вершине Горы, я вспоминала припев из песни моей обожаемой Тори Эймос (эта рыжеволосая певица, урожденная Мира Эллен Эймос, часто снилась мне в детстве с автоматом в руках; перед взлетом и после посадки, я, переводя двери самолета в положения «ручное» и «автомат», всегда вспоминала такие сны). Песенка называется «The Mountain», «Гора», и там все время повторяются следующие слова:

*«She'll be down, when the mountain lets her go her way,
She'll be down, when the mountain lets her go away;
So the city spits you, spits you out, rejected;
Kiss the brave men that you thought had you protected.
She'll be down, when the mountain lets her go her way.»*²⁵

Песенка была про меня. Когда еще раньше я приезжала сюда одна, увязая устойчивыми каблуками в черной земле, размышляла над незамысловатыми пятью строчками. В тот день, Кристабель, я вспомнила, как мы приземлились, и командир включил реверс, а я не успела закрепить все оборудование, и один железный контейнер вылетел с верхней полки

²⁴ Нем. «Я люблю тебя, моя любовь».

²⁵ Англ. «Она спустится вниз, когда гора позволит ей идти своим путем,
Она спустится вниз, когда гора разрешит ей уйти;
Так, город выплевывает тебя вон, отверженную,
Поцелуй тех храбрых людей, которые, как ты думала, тебя защищали.
Она спустится вниз, когда гора позволит ей идти своей дорогой.»

в стойке, углом распорол мне ногу. И. кинулся ко мне, снял пиджак, он оторвал рукав своей белоснежной рубашки, чтобы перетянуть рану сверху и остановить кровь, кое-как, никому не рассказывая о подобной безалаберности и пренебрежением собственной безопасностью, я доковыляла до дома, Дантес тащил меня на себе, он сел за руль, а у меня помутилось сознание, солнце жгло воспаленные глаза, я не могла видеть И. за рулем, то был лишь размытый темный силуэт, потому что никогда не видела И. за рулем, он – не из мира автомобилей, он – из царства электричек, он не мог сесть за руль, будь это хоть немного другая ситуация; мы летали самолетами, но только не авто, авто – это мое и моя прошлая и нынешняя жизнь. Он не смыслил в автомобилях, из последних сил рывком я выдернула ручник на стоянке возле дома. А как болела нога, мне пришлось потом еще месяц ходить на перевязки к травматологу, рану зашили, я не могла летать...

На следующий же день все полетело в пропасть. Когда он улетел в Лондон, а я осталась в здоровом особняке одна, серолицая, бледная, без макияжа, без багажных бирок с надписью «Stew», без моей любимой работы! Я сидела на больничном, и мне надо было перебинтовать ногу. Поблизости никого не было. Было страшно, больно и противно, но я поменяла повязку сама. В тот же момент подумала, что со всем в силах справиться без посторонней помощи. Отверженной Городом, мне надо поцеловать смелых мужчин, которые, как мне казалось, меня защищали.

Скоро начнутся провозки, и мое имя сотрется из памяти, останется одним инициалом, который и то могут срезать для краткости. В фешенебельной гостинице Бангкока, орхидеи, Будды, золотые слоны, всей своей фиолетовой лепестковой нежностью, всей своей Боинг-747-овой тяжестью, они снова вгрызлись мне в голову шелковым бантом на новую прическу от моего персонального стилиста Хельги Шмерц, эти мысли не давали мне спать в городе, где тебе бы, Кристabelle, очень понравилось: там полно твоих любимых праворульных тачек!.. Все-таки я обожаю свою работу. И не могу представить, как можно трудиться на земле, на этом конвейере с печивом, бедная моя подружка Кристabelle, скоро откроют набор бортпроводников, ты пойдешь учиться, и совсем скоро мы с тобой будем летать вместе, обещаю! Нам будет так здорово работать вместе, мы быстрехонько управимся с любым количеством пассажиров, я покажу тебе другие города и страны, это будет очень интересно! Начнутся первые провозки, и ты познакомишься с новыми интересными людьми.

Мою последнюю поездку на Гору снимали бы фоторепортажем для Vogue, не иначе. Когда я, в своем крутейшем авиационном пальто, лежала на снегу там, наверху, я смотрела в небо, которое никому у меня не забрать: ни Хельге Шмерц, никому; я раскинула руки в стороны, в одной руке были ключи от машины, в другой – эти сладкие зимние вишни из Франции, посылка от одной коллеги, в кармане – свернутая газета «X-Avia» (В «Признаках» вооруженная Мира уже добралась до самого Кафедрального Собора!)... И этот снег, эти сладкие зимние вишни из Франции, темно-синее пальто, мои смоляные пряди, и серебряные, ледяные самолеты, облитые специальной жидкостью против обледенения, все эти лайнеры в пустом небе надо мной, надо мной, стюардессой Клео на вершине Горы, единственной хичкоковской стюардессой авиакомпания «Schmerz und Angst».

Глава 19.
Грушевый пирог для Макса Брода²⁶

*«Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать.»*

(А.С.Пушкин, «Разговор книгопродавца с поэтом»)

Последнего сентября я, фасовщица Кристабель, ожидала визита своего издателя и душеприказчика Макса Брода в новый дом в Садах. До этого вечера с все подступающими заморозками, парикмахерскими кабинетами и неизбывными каменоломными сменами гнали вперед предсказуемую, ожидаемую, календарную осень.

Моя маменька примчалась из самой Венеции, чтобы оглядеть новый быт единственного ребеночка, чтобы привезти все якобы необходимое для моей внезапной самостоятельности: модную итальянскую скатерочку вместо той грошовой, купленной в супермаркете «Не слезать с карусели!», удобный штопор, и, в качестве бонуса, черный виноград и восемь плиток моего любимого Lindt. Я, в свою очередь, показывала маменьке окрестности – нашу Гору, конечно же, и речку за Горой, и трансформаторную будку в конце поселка, в начале подъема – с ее крыши можно было видеть самолетики взлетающие и самолетики, идущие на посадку. Наши самолетики – наша жизнь, авиация важнее жизни, говорил Монсьер Бортпроводник И., которого сегодня, как раз не было дома. С утра он поехал к своей маменьке за иные окраины, переглядываясь с близорукими шлагбаумами, строго-настрого запрещающими любым городским автомобилям прикасаться или хотя бы близко подъехать к его священной изумрудной электричке, ехал-ехал, тук-тук, стук колес, рельсы-рельсы, шпалы-шпалы, и далее по долгой горбатой спине.

В день маменек изумрудная электричка стучала так много километров, так много сантиметров волос откладывали парикмахерские ножницы в Садах. Ясное дело, я хотела показать маменьке все окружающие меня удобства. А так как газетный киоск был уже закрыт, магазин продовольственных товаров ее не интересовал, то из всех развлечений в Черных Садах оставалась одна лишь только парикмахерская. Я расхваливала ее недорогоговизну, и в итоге затащила туда маменьку. Пока мастерицы поселка причесывали ее и ровняли беспокойную окантовку локонов хладнокровным наточенным металлом, я сидела рядышком в креслице и слушала по радио песенки для салонов красоты. Радио пелось голосом Софи-Эллис Бэкстор. Потом я провожала маменьку до круга, до конечной автобусной остановки под названием «Гора». И мама отмахнулась, сказала, что уже давно заказала такси, которое доставит ее прямиком на обратный рейс в Венецию – благо до аэропорта ехать совсем близко. И такси в самом деле приехало, стоило лишь колесику и кремьенку пустить свою первую искру в моей зажигалке с надписью «Made in Austria» на дне – последний подарок Дантеса, как из-за угла, из-за остроколенчатых, загнутолокотных рябиновых деревьев, из-за разрытой ямы (ремонт дороги), показался черный-пречерный, как сами Сады-на-краю-света Fiat, он забрал маменьку, просившую не провожать ее до порта, а идти домой, «нечего гулять по такой темноте!». На остановке «Гора» я махала рукой все удаляющемуся «Фиату», растворяющемуся в дымке, идущей на запад, рябина

²⁶ Макс Брод (1884-1968) – писатель и публицист, лучший друг Франца Кафки, позднее – его литературный душеприказчик, биограф и публикатор сочинений. – *Прим. авт.*

подмораживала свои ягодки, маменька убедилась, что со мной все в порядке, и я пошла домой. Дантеса все не было. На кухне я читала «Шагреневую кожу» Бальзака, покуда чайник совсем не расшвистелся. На кухне ждал гостей румяный, сладкий, вылепленный с нежностью и со страстью упрятанный в духовку грушевый пирог – еще один неперенный атрибут айс-рябиновой осени.

Мой издатель и душеприказчик Макс Брод прибывает в Черные Сады после полудня, когда холодное солнышко гоняет хмурых птиц по небосводу, последнего сентября, кофе из кожи вон лезет, зернами лопаются, дабы показаться еще вкуснее, дабы согреть и окутать теплом и лаской, кофе совсем уже измучился, и мы хватаем его попеременно, в спешке, то я, то Дантес, порти́м его, травим сливками и сахарком, ибо оба любим «мягкий» кофе, посуда моется и чистится, сухие листья сметаются прочь с подоконников, вот с таким трепетом мы ожидаем с минуты на минуту герра Макса Брода – издателя и душеприказчика.

- Ты живешь теперь у самой Горы, К.! – восклицает Макс в прихожей.

Монсьер И., вызвавшийся встречать Брода на автобусной остановке, поправляет его:

- Ее зовут А.Е., не называйте ее больше К., пожалуйста! – просит Дантес, - вы видите, все по-настоящему. Мы отказались от всех этих глупых прозвищ, кличек и сказочных имен. Поэтому я настоятельно прошу вас, господин издатель, называйте ее только «А.Е.», только нареченным истинно зовите ее!

Макс не устаивает особым вниманием его просьбу, он проходит на кухню, и мы втроем садимся за стол.

Дантес. Что вы будете, господин издатель? Чай или кофе?

К. Он будет чай, я-то знаю!

Макс Брод (*с усмешкой*). Она-то знает! Я буду чай.

К. На тебе пирог. Грушевый. Мы его пекли-пекли, и он слегка так пригорел снизу, но все равно классный.

Макс Брод. Еще бы! Спасибо. Что пишется, К.?

К. Ни-че-го.

Макс Брод. Значит, ты счастливо живешь.

К. Самая счастливая на свете.

Макс Брод. Первый роман кто-нибудь читал уже из знакомых?

К. Я подарила книжку одному бухгалтеру, который работал с Мирой в той французской конторе.

Макс Брод. Александру? И ты, разумеется, сказала, что это твой роман, да? Про Андрея ты и словом не упомянула?

К. Ну как бы да.

Макс Брод. Стыдно, К.!

Дантес. А что такого, господин издатель? Это ведь ее роман?

Макс Брод. Хотелось бы поверить...

Дантес. Ну, она же его отнесла вам, герр Брод! Хотите еще чай?

Макс Брод. Покорно благодарю.

К. Макс, ну хватит, в самом деле! Это было возле станции метро в Большом Городе. Сашенька взял книжку, и мы поговорили пять минут про «что нового». Не лезть же мне к нему с уточнениями: а вообще-то этот текст написал мой брат, да...

Макс Брод. Ты все равно не убежишь от себя, К.

Дантес. А в чем дело? Вы что-то мне не рассказывали... У тебя есть брат Андрей, любимая? Где он? Почему он написал первую книгу, а не ты? Герр Брод, хотите еще чего-нибудь? Могу я называть вас просто Макс? Отлично! Максхен, хотите еще чай?

К. Макс, тебе завернуть пирог с собой?

Дантес (*обращаясь к К.*). Зачем ты спрашиваешь у него? Сама возьми и заверни!

Проходит пара часов, и мой издатель и душеприказчик собирается домой. Мы с Дантесом провожаем его до дороги, а сами заворачиваем в лес по грибы.

Придавленные кирзовым сапогом Горы, мы бродим по тропинкам, и тут я не выдерживаю:

- «Зачем ты спрашиваешь у него? Сама возьми и заверни!»

- Кристabelle! – испуганно смотрит на меня И., - Ты чего?

- Никогда не смей разговаривать со мной, да еще и прилюдно, в таком *супружеском* тоне!

- В каком супружеском тоне?!?

- «За-чем-ты-спра-ши-ва-ешь-у-не-го-са-ма-возь-ми-и-за-вер-ни»! Что за императив? Ты кто такой, мой родственник, чтобы говорить, что мне делать? Кто ты мне вообще? Кто ты мне?

- В самом деле, видать, никто, - обижается Дантес.

- Ты даже обижаешься предсказуемо, - заключаю я, и мы возвращаемся домой.

Я пишу Максу сообщение с вопросом, что он думает по поводу И., он отвечает цитатой Бебры из знаменитого произведения: *«Обладайте друг другом, детки, целуйтесь, завтра мы будем осматривать бетон, а послезавтра бетон захрустит у вас на зубах, так что целуйтесь, пока охота.»*²⁷.

А на следующий день я жду в гости из Италии свою маменьку, и сплавляю И. к его маменьке в железнодорожные окраины.

Софи-Эллис Бэкстор поет из парикмахерского магнитофончика, пока моя маменька не уезжает обратно в земли Армани и Версаче, напоследок подарив мне помаду Dior, люксовую, совсем как в старые добрые времена, оттенком совсем как у Клео, богемной стюардессы. Дома я жду Дантеса, которого все нет и нет, и нет и нет, десять вечера, одиннадцать вечера, в половину двенадцатого я набираю его номер, и он говорит, что последняя электричка ушла, не спросив его разрешения, поэтому он не вернется сегодня в Черные Сады, я выдаю в ответ замечание о том, что воспитанные люди обычно предупреждают, когда задержатся, я выдаю в ответ самую оскорбительную часть моего скудного словарного запаса, я набираю номер маменьки, потом Макса Брода, потом Клео, проклинаю холодный ветер, дующий изо всех форточек в этом несчастном двенадцатом доме, наконец, я ложусь спать.

²⁷ Г.Грасс «Жестяной барабан».

Глава 20.

Шесть кавунов из Чимкента

*«Свежак надрывается. Прет на рожон
Азовского моря корыто.
Арбуз на арбузе – и трюм нагружен,
Арбузами пристань покрыта.*

*Не пить первача в дорассветную стыдь,
На скучном зевать карауле,
Три дня и три ночи придется проплыть –
И мы паруса развернули...*

*В густой бородач ударяет бурун,
Чтоб брызгами вдрызг разлететься;
Я выберу звонкий, как бубен, кавун –
И ножиком вырежу сердце...*

*Пустынное солнце садится в рассол,
И выпихнут месяц волнами...
Свежак задувает!
Наотмашь!
Пошел!
Дубок, шевели парусами!*

*Густыми барашками море полно,
И трутся арбузы, и в трюме темно...
В два пальца, по-боцмански, ветер свистит,
И тучи сколочены плотно.
И ерзает руль, и обшивка трещит,
И забраны в рифы полотна.*

*Сквозь волны – навывлет!
Сквозь дождь – наугад!
В свистящем гонимые мыле,
Мы рыщем на ощупь,
Навзрыд и не в лад
Храпят полотняные крылья.*

*Мы втянуты в дикую карусель.
И море топочет как рынок,
На мель нас кидает,
Нас гонит на мель
Последняя наша путина!*

Козлами кудлатыми море полно,

И трутся арбузы, и в трюме темно...

*Я песни последней еще не сложил,
А смертную чую прохладу...
Я в карты играл, я бродягою жил,
И море приносит награду, -
Мне жизни веселой теперь не сберечь -
И руль оторвало, и в кузове течь!..*

*Пустынное солнце над морем встает,
Чтоб воздуху таять и греться;
Не видно дубка, и по волнам плывет
Кавун с нарисованным сердцем...*

*В густой бородач ударяет бурун,
Скумбрийная стая играет,
Низовый на зыби качает кавун -
И к берегу он подплывает...
Конец путешествию здесь он найдет,
Окончены ветер и качка, -
Кавун с нарисованным сердцем берет
Любимая мною казачка...*

*И некому здесь надоумить ее,
Что в руки взяла она сердце мое!..»*

(Э.Багрицкий, «Арбуз»)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ ИНФЕРНАЛЬНОЙ СТЮАРДЕССЫ КЛЕО:

Это случилось давно, хотя, в общем-то, в резине времени все относительно, так что я сама не помню, когда именно это произошло, но точно помню, что это было до Действительно большой небесной катастрофы.

Мы полетели в Чимкент, он же – Шымкент, город в родной стране моего Дантеса, в Казахстане. Здесь кругом степи, и тепло даже когда у нас там все носят тяжелые пальто. Когда-то любимый рассказывал мне, как в детстве путешествовал с родителями в Ташкент и по другим городам Средней Азии. Он видел пустыню Каракумы, он раскладывал пустыню на словечки и переводил мне. «Кара – черный, кум – песок», - объяснял мне Монсьер. А теперь мы прибыли в Чимкент, откуда все наши знакомые везли себе дыни.

Командир дал нам с Дантесом двадцать шесть долларов на покупку дынь себе и второму пилоту. Когда наш шеф, бортпроводник-старший, господин Скомм, увидел купюры, он рассмеялся: «Да на такие деньги тут не то что эту дыню или что вы там хотите – тыкву, можно купить, а всю тыкву-карету вместе с Золушкой в придачу!» Мы побежали вниз по трапу, Скомм крикнул нам вслед: «Весь базар не скупите!»

Пограничник внизу ждал нас. Ссылаясь на то, что все экипажи покупают в Чимкенте дыни, мы убедили его, что съездим в город буквально на полчаса и тут же вернемся

обратно, нам скоро улетать домой. Под наши клятвы и заверения в скором вылете, пограничник (ребенок лет двадцати), выпустил нас в аэропорт. Никаких такси не было и в помине, мы поехали на полуразваленном рыдване одного из наших пассажиров, вместившись в крохотный салон на четвертое и пятое места. Тот пассажир, ныне ставший нашим водителем, подарил мне пачку сигарет «Казахстан», он согласился добросить нас до базара.

В кузовах грузовиков один на другом громоздились пыльные дыни и арбузы. Дантес, мой авантюрист, выскочил из авто и начал говорить с базарным торговцем, смуглым босоногим мальчиком в замызганном спортивном костюме, по-казахски. Я слышала только что-то про «кавуны». Кавун – это и есть дыня. Потом И. сказал, кажется, «алты» - и, судя по всему, это означало «шесть». До этого он снабдил меня кратким разговорником речей своей родины, он написал некоторые слова на полях старого выпуска «X-Avia» своим претенциозно каллиграфическим почерком: «Саламацезбе – здравствуйте; Саубоцнысдар – до свидания; Балалар – дети; Бэр Екэ Уш Тор Бес Алты Жетэ Сегэс Тогыз Он». Когда я выговорила вслух этот счет, то не удержалась и съязвила: «Именно это заклинание и отворяет врата ада?»

...Обратно мы бежали по летному полю, надрываясь от тяжести шести знойных и спелых кавунов, когда нас остановил начальник таможенной службы. Затем началось что-то невообразимое. Нас обвинили в выдаче взятки тому самому молоденькому пограничнику, в незаконном пересечении границы, они вызвали представителя «Schmerz und Angst» в Казахстане, и все вместе никак не могли решить, арестовывать нас на месте или же немного повременить. Я и Дантес написали какие-то объяснительные о том, что мы были задержаны, так как хотели «контрабандным путем вывезти из страны дыни в количестве шести штук»... Наконец, они дозвонились до Большого Города, в главный офис авиакомпании, и Хельга Шмерц ручалась, что подобное недоразумение больше никогда не повторится, она что есть сил уговаривала таможенников отпустить нас с миром. В итоге нас отпустили, но о том, какая приватная встреча ожидала нас обоих с фрау Шмерц, мы не смели и думать.

Самолет трясло и трясло, и вернулись в базовый аэропорт мы совершенно разбитыми и вымотанными, два дынных контрабандиста-неудачника. Даже шутить по этому поводу не было сил. Начальник казахстанской таможни еще потряс кулаком нам в спину: «Будьте вы прокляты оба за эти кавуны!» И по этому поводу тоже шутить не было сил.

Мы приволоклись, тяжелоголовые, после бессонной ночи в небе, домой, и разрежали кавун. Дантес так забавно резал, получались совсем маленькие дольки, как раз для того, чтобы лишь единожды подцепить их десертной вилкой. Потом мы пошли отсыпаться, высыпаться вон очередным тяжелым рейсом. Любимый приговаривал сквозь одолевающую дремоту о том, что жил когда-то в поселке «Черные Пески», возле Горы. Я улыбалась, тоже не открывая глаз. Бедненький, думалось мне, как же он устал, уже все перепуталось в его трудяжных мозгах – вот, он мне рассказывает про какой-то поселок, хотя «Черные Пески» - это те же Каракумы, куда он ребенком ездил с родителями.

Сон у Дантеса был беспокойным, издерганным. Я обнимала его, и вспоминала колыбельными песенками прошлую нашу с ним работу на Чешских авиалиниях, и Прагу, нашу первую ночь на крыше Собора святого Вита, где мы повисали на всех возможных крестах, распятые в нашей летной форме... И Винограды, где я снимала комнату, и Нусли, где он когда-то работал на лакокрасочной фабрике, и мою академию изящных искусств, глиняные головы. И. носил на шее распятие, на котором вместо Иисуса была фигурка

меня в одежках стюардессы. Перед каждым взлетом он целовал этот свой крест и говорил, глядя на меня: «Пока летим вместе, ничего не страшно. Потому что и умрем вместе, случись чего».

На этот раз Дантеса одолел поистине лунатический бред, не знаю, что послужило тому причиной – переналет, переутомление, родная земля, проклятые кавуны или еще что-то. Но тогда он звал кого-то на букву К, кого-то – но не меня, и просил почитать ему по-немецки. Причем здесь вообще Гёте и игра в классики на кухне? Что за чтения на немецком? Я продолжала его убаюкивать нашими пражскими ностальгиями, но он, в нестерпимом пожаре своих сновидений, совсем меня не слышал, а только растягивал в непреодолимых усилиях мятые фразы о поселке «Каракумы», пустыне «Черные пески», степи «Черные Сады», о том, что К. так здорово читает вслух Гёте. Я решила сдаться, потому что, усни и я, возможно, нам приснился бы одинаковый сон, в котором и может быть найдена разгадка. Я перекрестилась двумя пальцами, повторяя, как мантру, наполовину в подушку, наполовину в затылок И.:

- Dobře mluvíš, dobře.²⁸

²⁸ Чешск. «Хорошо говоришь, хорошо».

Глава 21.

Гора III

*«Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а - так,
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош,-
Парня в горы тяни - рискни!
Не бросай одного его,
Пусть он в связке в одной с тобой -
Там поймешь, кто такой.»*

(В.Высоцкий, «Песня о друге»)

Я отлично помню тот вечер, когда разругалась с отцом. Это случилось в городке под названием Артем в Приморском крае. Артем – собрат-киста Владивостока, славился тем, что в нем испокон веков стоял аэропорт «Владивосток», а в самом городке жили летчики и все остальные авиалюди. Добираться до места работы недалеко, да и вообще удобно. В Артеме родился и мой брат Андрей, кстати. Мы все заворожено провожали плохонькими глазками самолетики, мы провожали нашего дедушку Генриха, командира воздушного судна, в рейсы, мы с Андреем-Аяксом отбирали друг у друга дедову фуражку, чтобы покрасоваться в ней перед зеркалом. Конечно же, Аяксу фуражка перепала чаще, чем мне, ведь он старше, сильнее, и к тому же мальчик, ему куда больше шло быть зазеркальным пилотом.

В городке Артеме было мало домов, одна дорога и Сопка, на вершине которой стояли локаторы. Они ворочались, сенсорили самолеты. Сопка, она же – Гора, была самым высоким физическим телом городка.

Прилетев из Большого Города в гости к моему отцу в Артем, мы с Б., моим тогдашним любимым мужем, как-то на закате пошли гулять. Я предложила ему подняться на Гору-Сопку. Там, на высоте, впервые лет за десять или больше, с самого дальнего детства, вновь смотрела я на свои любимые сладкие августовские просторы, на волшебную страну, которая уже давно вычеркнула меня из своей памяти.

Потом мы с Б. спустились с Горы, вернулись домой, и я кошмарно поссорилась с папой. Он сказал, что в ночь он свою К., конечно же, не выгонит, но завтра его К. может валить куда угодно. И я уехала с Б. тем же вечером на такси во Владивосток, в гостиницу с видом на Амурский залив, в номер 910, я уехала, куря одну сигарету за другой без перерыва.

* * *

ПРЯМАЯ РЕЧЬ ИНФЕРНАЛЬНОЙ СТЮАРДЕССЫ КЛЕО:

Ну и как твои дела, Кристабель? Как поживает цех бортипитания, ненавистная «каменоломня», как ты ее называешь? Как мне нравятся твои словечки! У меня никогда не было таких друзей, тем более на земле, чтобы с ними так разговаривать. С тобой я говорила совершенно свободно, что, в общем-то, редкое явление. Я очень рада тому, что общалась с таким человеком, как ты, Кристабель.

У меня, как всегда, все было замечательно. Постоянно летала, ставили в эстафеты на неизменные экзотические острова, на которых решительно нечем заняться, кроме круглосуточного лежания на пляже, что ж, такое времяпрепровождение для меня самое подходящее, учитывая, как сильно выматываешься в долгих рейсах, пролетая над океанами, когда всегда трясет, турбулентность уже стала моим стилем жизни, «танцующие» полеты не вызывают у меня ни страха, ни тошноты, а лишь усталость – но это уже, так сказать, издержки производства, и ничего с ними не поделаешь.

Сегодня у меня был ночной резерв, и вот я вновь в отеле, отмеряю минутами время до освобождения или же до получения приказа свыше лететь повыше. Повторюсь, я обожаю летать, но только в запланированные рейсы. Здесь же, оттягивая сладостные мгновения от одной кружки кофе к другой, я просто убивала время в бессмысленном ожидании.

В наряде на ночной резерв сегодня со мной был мой любимый. Мы с Дантесом встретились здесь, теперь ведь мы видимся только на работе, после расставания так всегда происходит. Тосковать между рейсами, встречаться на рейсах – такие у нас с ним нынче отношения. Но мы так дорожим ими, так бережно обращаемся друг с другом, что провести вместе одну ночь в отеле – это так восхитительно, ради этого стоило не слезать с неба целый месяц.

Ни он, ни я – никто из всех нас не выдержал, Кристабель. И как мы помирились, и вновь температура заставила напрячься все метеослужбы, с той секунды, когда я и Дантес вновь решили быть вместе. Он все мне рассказал про тебя. Не знаю, как мне простить твою подлость, ведь я считала тебя своей подругой! В обесточенном отеле мы с ним перебирали ворох невысказанных обид, и над всем этим открывались новые правды. Он писал своей Алоизе, но на это я давно уже закрыла глаза, а потом он писал сообщения тебе, уверяя, что ему так же тягостно работать на конвейере. Тогда уж я не сдержалась – Кристабель, Монсьер И. – тебе не ровня, он должен и будет летать! Когда же ты поймешь, что самолеты – для нас двоих, а твоя каменоломня – для тебя одной, избалованная девочка. Вот откуда Гёте в оригинале на размелованном линолеуме, вот откуда все зло. Теперь ты выводишь меня из себя, обманутая нищенка, надо было искать другое применение своим мозгам, ты хвасталась всем, что айкью у тебя ого-го, так вот иди дальше своей дорогой, я отпускаю тебя. Не будет никаких наборов в бортпроводники – или будут, но *не для тебя*. Иди своим путем, уходи подальше, Гора тебя больше не держит.

Насколько кристально, Кристабель, чисто и понятно все видится сквозь намытые до блеска оконные стекла. Я подозревала, что Дантес живет с тобой, и это подозрение оправдалось. Ты победила, одолела меня, свою астральную проекцию, вскоре после ваших с Дантесом первых стажерских полетов, ведь мы всегда были с тобой одним и тем же человеком, Кристабель. Ты решила избавиться от меня, потому что я представляла слишком опасную угрозу для вашей пасторальной идиллии в Садах. Эй, ну не морщись на правду, горький терновник! Ведь это ты подошла ко мне со спины там, на вершине Горы, и воткнула в спину нож, тот самый нож, который И. нашел в дереве, собирая грибы в здешних лесах. И ты толкнула меня вниз. Вниз, с Горы. «И большие каменные горы, на груди того, кто должен – вниз»²⁹. Ты прошипела что-то о том, что, дескать, не одной тебе постоянно падать. Что кто-то тут определенно должен умереть. Что ты слишком сильно

²⁹ М.Цветаева

мне завидуешь, как все общие знакомые восхищенно смотрели мне вслед, пока ты строила из себя глухонемую.

А ведь мы с тобой всегда были одним и тем же человеком, Кристабель. Зачем же ты убила меня?

И все эти сказки о девочке-призраке в отеле, ты, конечно же, помнишь. Тогда ты впервые оказалась в резерве. Они, девчонки в форме, шушукались за завтраком о несчастной любви одной стюардессы, и ты тоже была там, так притворно ужасаясь, зная, что произошло на самом деле. Ведь тогда я была у окна, запивая кофе-латте лекарство от головокружений, я смотрела на набиравший высоту самолет, улетающий в твою любимую Вену, и ты открыла дверь в номер 910. Моя тень, вертикальная тень, карманный демон, ты сказала, что одна из нас непременно должна уйти. Улететь. На легких крыльях до чугунной земли. И ты выкинула меня из окна, пиковую даму из колоды, лишнее слагаемое в безупречном уравнении.

Так было однажды на посадке. Мы с Дантесом сидели по разным дверям в стойке, два стража аварийных выходов. Я рассказала ему о твоих заморочках по поводу еды, мы оба недоумевали, откуда они у тебя взялись, ведь ты всегда была очень худой. Я говорила о том, что ты возвращаешь в себе лишь тонкие материи, стремишься к развитию души, а не к потаканию телесным прихотям. На что И. ответил фразой, которую я тут же записала в блокнот. Не только фразу. И безо всяких знаков препинания. В моих заметках это выглядело так: «меньше веса больше духовность сказал и. за секунду до посадки». Так оно и было. Под обсуждение эфемерного духа наш Боинг-737 коснулся земли с грохотом, шумом, обрушив всю свою металлическую многотонную тяжесть на бетон полосы.

По идее это я первая на тебя обиделась за то, что все мои монологи ты слышала его имя и скрывала от меня, что теперь он навсегда твой. А ты, в свою очередь, обозлилась на нас с ним за то, что у нас было небо, а у тебя – только темень и невероятно черные сады, и выкинула меня из окна, ты выбросила меня вниз, ты убила самое себя.

Я оказалась куда легче. Мне даже удалось немного спланировать и лечь ровным осенним листом на скупой ранний снег, устлавший дырявым полотном парковку возле отеля. Я уступила тебе, Кристабель, этот отель, и это небо, и эти авиалайнеры, и рельсы, и шпалы, и железнодорожные гробы, и наших начальников, и наши пробки на слякотных дорогах, сладкие вишни из Франции, и Франца, нашего любимого писателя, и неизбывную тягу к высокому, и извечное земное притяжение, полуночные ампулы яда, ягоды белладонны, механическую коробку переключения передач, и улыбку спящего Б., и смех Дантеса, непонятно раздражающий, и надежду покорить до конца жизни самых смелых амбиций неприступные скалы, и тот весенний дождь, о котором никто не знает, потому что под ним надо гулять в одиночестве и думать о викторианской поэзии, и прерафаэлитов, и модернистов, и метафизиков, и все остальные покосившиеся заборы полудня истории – всё это я оставила тебе, Кристабель, и отныне тебе придется справляться с этим всем самой.

Обнимаю тебя крепко-крепко. Твоя Клео.

* * *

[за два часа до этого]

...Я рылась в шкафу, в нашем доме в Черных Садах. Обнюхивала вещи Дантеса. Искала, искала, и, наконец, нашла. Под его свитерами, джинсами, куртками, я нашла ее.

Форму бортопроводника «Schmerz und Angst». Значит, он летал. Он летал, пока я вкалывала в цехе. Он – необразованный пролетарий – летал на самолетах! Обманывал меня, будто тоже работает на конвейере... Он летал, он был стюардом. Пока я... На заводе!...

Вторая мысль, захлестнувшая меня, была еще отвратительнее: все это время он летал с Клео! Они были рядом каждый полет. Они расстались, но продолжали летать вместе, мой Дантес и моя Клео! Пока я там, в каменоломне...

Не переодеваясь, как была, в синей робе, я выбежала на улицу, и, выкинув вперед руку, пыталась поймать любую машину, я добежала до поворота на аэропорт, вдоль шоссе, по деревне «Заборье», неслась я с выдернутым по ветру темно-синим рукавом, пока какой-то сердобольный Hyundai Accent не остановился, и водитель не вызвался докинуть меня до отеля.

Я вошла в здание отеля, я нашла их там.



Глава 22.
В лабиринте

*«В своей бессовестной и жалкой низости,
Она, как пыль, сера, как прах земной.
И умираю я от этой близости,
От неразрывности ее со мной.*

*Она шершавая, она колючая,
Она холодная, она змея.
Меня изранила противно-жгучая
Ее коленчатая чешуя.*

*О, если б острое почувал жало я!
Неповоротлива, тупа, тиха.
Такая тяжкая, такая вялая,
И нет к ней доступа – она глуха.*

*Своими кольцами она, упорная,
Ко мне ласкается, меня душа.
И эта мертвая, и эта черная,
И эта страшная – моя душа!»*

(З.Гиппиус, «Она»)

Вы сидели там, голубки-бортпроводники, Дантес и Клео, в отеле для авиаторов, влюбленной парочкой клеили ладошки друг к другу, я вас видела там, в фойе. Уставшие летчики и кабинные экипажи отдыхают после рейсов, некоторые пьют коньяк, некоторые отрываются по-другому. Там был караоке-бар, конечно же. Когда я пришла туда, в своей робе фасовщицы бортипитания, все приняли меня то ли за уборщицу, то ли еще за кого-то.

Я заказала песню Джеффа Кристи «Yellow River», и залезла на сцену. Я пела песенку, вы мне хлопали. Клео улыбалась, глядя на меня, и ты, любовь, тоже улыбался. Ты не помнил, что «Желтая река» Кристи играла из всех репродукторов, когда мы с тобой приехали на те гольфовые поля сопровождающими знати, чудовищно жарким летом, только начиная ляпаться друг в друга, мы слышали: «Yellow river, yellow river is in my mind and in my eyes...»³⁰ Тогда еще я схохмила по поводу великолепного названия «Боль и Страх» для авиакомпания (это всегда была моя шутка, Клео!).

Под веселенький ритм и простую мелодию мы все взялись за руки, вы, дорогие друзья, поднимайтесь на сцену, это так здорово! Шелковые белые пальцы Клео, острые коготки, покрытые лаком оттенка №666 «Dracula» (стюардесса с открытки, стюардесса с обертки шоколадки), мои под корень обгрызенные ногти когда-то пианинных фаланг, ломавшихся от недостатка кальция и ныне ловко пакующих касалетки с мясом и рыбой, и пальцы Дантеса, крепкие, смачно хрустящие по утрам, срывающие пломбы с телег и полутелег, - мы взяли за руки втроем, мы закружились, yellow river, yellow river... В дьявольском

³⁰ Англ. «Желтая река, желтая река в моих мыслях и перед моими глазами...»

хороводе крутимся мы здесь, на помосте караоке-бара, в этом нестерпимом пожаре, в этом нестерпимом головокружении, и когда мы, наконец, расцепимся, нас откинет на сотни километров в разные стороны. Клео пожалуется на головную боль, поднимется за лекарством в свой номер, и я пойду неслышным следом за ней, уже вся изъевшаяся ядом собственной ревности и зависти, там я и выкину Клео из окна. А потом выкину туда же эту скомканную жуткую газетенку, которую они все тут взахлеб читают, дурную прессу, эту еженедельную хлипкобумажную «X-Avia», выпавшую из кармана пальто Клео, когда та еще пыталась оказать мне сопротивление в номере 910.

А с тобой, И., мы расцепимся двумя звеньями хоровода, меня шмякнет о стену, о фанерный лист, ты испугаешься: «Кристабельхен, у тебя обморок?» И ты покидаешь пакеты с хлебом и рисом, ты начнешь меня поднимать там, где мы кружились под «Желтую реку» Джеффа Кристи, на автобусной остановке, где мы кружились и кружились, пока меня не швырнуло прямо на ту табличку с надписью «Не слезать с карусели!»

* * *

Мне все известно, эй. Клео сказала, ты любил ее безумно. Я всем пожертвовала ради тебя. Ты всем пожертвовал ради меня. Клео обожает вашу работу, вы, небесные куколки. Не притворяйся, флейтист-канатаходец, тебя клонит, куда ветер дунет, тебя тянет, как флюгера семейства Флюгеровых, эй, флейтист! Я сама сказала ей про тебя. Она рассказала мне про шесть контрабандных дынь и вашу первую и последнюю великую любовь, эй! Черт, это выносит мне мозг.

Она была такой убийственно красивой, инфернально-великолепной, фотомодель-бортпроводница, зимняя вишня из Франции, как ты мог променять Клео на меня, Монсьер Бортпроводник? Она даже водит самую крутую в мире тачку – пикап Toyota Hilux, дизельный, белый, с номером 645, праворульный, в конце-то концов! Точно такой же был у меня во Владивостоке, он там и остался, с тем же номером, а здесь – на тебе! – на нем ездит самая прекрасная женщина в мире, моя Клео! А как она читает по-немецки, ты бы слышал, как она читает Шиллера! Она круче Джимми Пэйджа, божественнее Моцарта, у нее столько дизайнерского шмотья, у нее особняк с готическими окошечками, белая блузка и значок-птичка, у нее допуск уже на все Боинги, золотой портсигар, она такая везучая!.. Как ты осмелился не возвращать ее и остаться со мной, когда я пресмыкалась перед ней, не пытаюсь даже дотянуться до нее по росту?

Когда я спросила Клео, почему ей пришлось уйти от тебя, она поджала губы: «Социальное неравенство». Тогда я впервые разочаровалась в отсутствии у нее широты взглядов.

* * *

Вот оно, зеркало, Дантес. Мы стояли с тобой вдвоем у зеркала, и я боялась, что ты такой худой, я боялась, что ты можешь выглядеть хуже меня, я этого не вынесу, если тут и есть место для тщедушного эстета, то им буду я, Дантес. Я спросила Клео, мою Афродиту в «Шанель», богатую и красивую, что ее в тебе раздражало. То, что ты тайком читал дешевую беллетристику? Клео, оказывается, никогда этого не замечала. Но она сказала, что ты очень мелко резал лук, картошку, грибы, овощи. Очень мелко резал, так,

что на сковороде и в тарелке от них не оставалось совсем никакого вкуса. Ты очень вкусно готовишь, Дантес, но как же ты мелко режешь.

Вот оно, зеркало. Я замажу синяки под глазами и побегу с утра пораньше в каменоломню, и на наши последние сбережения закажу такси до цеха, и таксист, он заедет в наш двор в Черных Садах в пять утра, он проткнет шину ржавым гвоздем, и я опоздаю на смену. А твоя Клео, ты же так ее любил, улетала на острова с пальмами и шезлонгами вдоль по береговой линии; а ты вспомнишь про меня, ты скажешь, да, это моя Кристабель, чахоточная, она все время ноет о том, как ненавидит работу, а моя Клео, она обожала свою работу, моя небесная невеста, моя вечная небесная невеста, мой кокаин, она ломала меня о свое острое колено, моя худышечка Клео; а вот это моя Кристабель, у нее тоже острые коленки, но ей меня не сломать, она может только строить снобский забор из книг, сидеть на своем снобском книжном заборе вместе с Францом Кафкой в их тяжелых пальто, и плевать с этого забора вниз, на меня, например.

Тогда я подойду к зеркалу, позади которого будет стоять еще одно зеркало, мы купили их в «Кэмпе», и я буду самой худой, самой талантливой и самой модной. Я скину с себя форму рабочей из цеха бортипитания и останусь в форме стюардессы, я засуну руку в карман крутого пиджака, и в моей ладони окажутся ключи от Хайлакса, я смогу раскинуть руки, крестом повиснуть в воздухе меж двух зеркал, ключи от авто потянут меня вниз, этакую стройняшку, эй, флейтист из Штепногорска, тебе не бывать круче меня. И Б., моему бывшему мужу, не бывать круче меня. И Мире, которую я сама выдумала, не быть круче меня, сколько бы пистолетов у нее ни было. Даже Клео – а вот и она, в отражении напротив! – ей тоже не бывать круче меня. Из зеркала на меня смотрит Клео, как в скайпе, как мы с ней общались в режиме онлайн. И она передает нам всем привет. Мне хочется целовать ее туфли, как летом Дантес целовал мои туфли, а я специально пачкала их в пыли. Мне хочется стащить зубами с Клео туфлю и забрать себе на память, пока Клео насовсем не исчезнет из зеркала, и я останусь тут навсегда одна.

Я останусь тут бедной Кристабель в нашем богом забытом поселке, у нас не будет денег на сигареты, и я убью Дантеса как-то ночью, я не хочу убивать еще и его, потому что он читает низкопробное чтиво, потому что он чем дальше, тем больше кичится своим материализмом, и я убью его, потому что у нас не будет денег на сигареты, потому что он окажется слегка худее меня, потому что о нас будут думать, как о милых деревенских жителях, об этих забавных пригорных детках, тех, что никогда не ходили на концерты органной музыки в Кафедральный Собор, тех, которых жалеют с улыбкой.

Но я не хочу больше убивать кого бы то ни было. Я сползаю вниз по жидкому небу на невытый линолеум, и я наклоняюсь вперед, к щиколотке Клео, я хочу стащить у моей заоблачной золушки туфельку себе на память, и тогда мертвая Клео в зеркале-экране, жестокая, она бьет меня ногой в плечо, мои плечики пианистки хрустели без кальция, никакой пощады, никакой пощады! Она отталкивает меня обратно, на наш грязный пол, сколько же можно на нем лежать, сколько же можно подметать его волосами. Но и покойнице Клео так легко от меня не отделаться, я все равно до сих пор слишком сильно ей завидую. Она ударила меня, и своим движением разбила зеркало. Белоснежка прошибла с ноги крышку хрустального гроба, осколки разлетелись в стороны.

Ведь мы с Клео всегда были одним и тем же человеком, только она смотрелась слегка удачливее. Вот и сейчас она смотрит на меня, растрепанную, свалившуюся с жидкого неба башкой в пол, она смотрит на меня с неприкрытым отвращением, эй, ей отвратительно от самой же себя? Непорядок! Ей так просто не отделаться от Кристабель, ее тени, ее

дьявола, ее лузерской копии. Я нашариваю ладонью самый лезвийный осколок зеркала, и с размаху втыкаю его Клео в ногу, правую голень, ей больше не быть тут самой красивой.

Когда я проснусь, Дантес вернется домой с работы, он найдет меня в коридоре, он тут же снимет с себя рубашку, мигом оторвет рукав и перетянет мою ногу выше колена, чтобы остановить кровь. Я вернусь домой с работы, в этой каменоломне все норовит покалечить меня, И. кинется ко мне, оторвет рукав своей бежевой толстовки, перевяжет мне рану, он помчится к хозяйке, к фрау Нахтигаль за йодом и зеленкой, за бинтами, он положит меня на кровать, даст книжку в руки, чтобы отвлечь от боли, ох уж этот чертов контейнер!, сверху любимый накроет меня одеялом, а потом закроет крышку хрустального гроба: стекло оказалось целым и невредимым, ни в одном месте не разбитым. Я упрусь глазами в комод сквозь крышку этого Белоснежкиного домика для сна, и буду жалеть о том, что Дантес позабыл надеть на меня очки моего брата Аякса с диоптриями.

Кашель согнет меня в три погибели там же, но я уже буду совсем одна, и некому будет охать и жалеть меня. Я буду ждать, когда Дантес принесет бинты от фрау Нахтигаль, Гора будет злобно смотреть мне в окно, я буду глухо плевать в одеяло. Кровавый кашель скрутит меня в бараний рог, и я буду мечтать о кафкианской смерти, о, как драматично я выгляжу! О, да они не видели такого и в синематографе!



Глава 23.

Дуэль

«Кафка Кафкой, а в спальне – самолет.»

(М.Айваз, «Оглавление»)

Я ругаюсь с Дантесом каждый день. Он таращится в потолок и вопрошает небеса, что же ему делать. Он звонит Алоизе, своей жене, узнать, как дела, что с ребенком. Я созваниваюсь с мужем, мы говорим о музыке и о великом искусстве (почему же мы не говорили об этом раньше, а только спорили?). Наконец, в один прекрасный день, когда я возвращаюсь со смены, Дантес вопрошает вместо небес меня: «Кристабель, что мне делать?» Я закуливаю «Мальборо» и снимаю сапоги. Он хочет к сыну. Жена от имени сына пишет ему смс «Доброе утро, папочка». Он боится развестись и платить алименты. Мы с Дантесом рыдаем на кухне. В гостиной я посылаю его к черту вместе с его приплодами и снимаю вешалки со своими рубашками. Дантес рыдает от того, как меня сильно любит и как тяжело меня отпускать. Я снова курю, мы ревим на кухне. Он плачет над моим свадебным фотоальбомом, прищепывая сквозь глазные водопады, что мне еще встретится хороший человек. Я жую сопли, исходя сентиментальностями наподобие: «Это временные трудности, все у нас получится, все наладится». Тогда Дантес опять обращает взор к потолочному богу, иступленно пуская ртом слюнявые пузыри семейной трагедии: «Я не знаю, что будет...» Я вновь шлю его к черту, вместе с его слабохарактерностью и докуриваю пачку «Мальборо» до конца. У меня есть великое оправдание созвонов с мужем – наши нетленные произведения, его песни и мои книги. У И. есть великое оправдание созвонов с женой – ребенок, и у него есть великая любовь – я. Да вот только Монсьер Бортпроводник не ведает покоя и сна последние дни.

Я не хочу терять Б. Я хочу быть апофеозом представителей цивилизованного человечества и остаться в хороших отношениях. В великолепных отношениях. Именно это я и отвечаю ночами в ответ на смс мужа: «Блин... Зараза... Люблю тебя». Я порву любого в клочья, в пух и прах, кто скажет что-то плохое про моего бывшего мужа. Только я могу говорить об Б. плохо, потому что только я имею право об этом говорить. Ну, сам он тоже может.

На следующий день у меня выходной, а Дантес работает. Я перебинтовываю ногу сама, чуть не падая в обморок от страха и отвращения. Открытая рана, пупырчатое мясо под кожей. Я иду в магазин, покупаю себе бутылку ликера «Oasis» из-за названия (всегда любила Лайма Галлахера). Вытаскиваю из рамок наши с Дантесом фотографии, убираю их в альбом фото с Б., и на их место ставлю старую-престарую фотку себя на качелях с электрогитарой. В парфюмерном магазине картонка-пробник духов Richmond, вырезанная в виде медиатора, с надписью «It's only rock'n'roll». Я клею эту картонку к фоторамке на кусочек лейкопластыря, которым цепляю к больной ноге бинты. Пью и курю, слушаю музыку. Беру акустическую гитару, и на переходе соль-мажора и ля-минора (как обыденно!), нагоняю текстовое:

*«And I sit always here and I stare at the doorway,
And he sits all against and he sings what he must:
Stepnogorsk, all the trains just forever go away,*

Stepnogorsk, even no train will come here to us.»³¹

Потом пересматриваю чужие, Дантесовы фотографии, и меня охватывает приступ смеха. На диване он, его жена и их младенец-ребенок, ковер на стене, банки с вареньем под кроватью. Я хохочу в голос, представляя, как это забавно смотрится со стороны, учитывая, что я в доме одна. Фото свадьбы Дантеса и Алоизы. Огромный букет цветов, бакенбардистый жених целует невесту на четвертом месяце беременности.

Я включаю «Supersonic» Oasis, потом – «С'mon с'mon» The von bondies, потом еще что-то, наливаю себе побольше ликера и не могу перестать ухаживаться. Я смотрю на себя в зеркало и думаю, Боженька, куда я вляпалась? Зачем я влезла в это мещанство и пытаюсь соорудить из него непонятно что? То был уже не Шекспир, а только Шуфутинский. Теперь же, после брызганья фейерверками от радости обретения второй половинки, каждый неуклонно стал тащить другого в свою сторону. Жена Дантеса трясла перед ним их ребенком и он грызся виной с мучениями. А мы с мужем хотели снова хотя бы записывать вместе музыку. В тот день мы проговорили по телефону сорок и двадцать минут ежеразово. Еще покупая ликер, я зашла в газетный киоск (моя единственная отрада в Черных Садах, так как библиотека, находящаяся за двадцать километров отсюда, отказала мне в оформлении из-за прописки Большого Города, а не Маленького Городка), и увидела в серии «Великие художники» выпуск №63 шикарного глянцевого издания книгу репродукций, посвященную в этом месяце Билибину. А Билибин – это же кто?! Я радостно заулыбалась продавщице и протянула ей деньги. Б., если ты прочитаешь этот текст, то смотри, как я хочу заявить всем в мире о том, что

ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ БИЛИБИН – ЛЮБИМЫЙ ХУДОЖНИК Б.

Не смогла удержаться и сообщила бывшему супругу, чтобы он не пропустил этот выпуск. Так еще проболтали почти полчаса, пока Дантес был на работе (летал, летун!). Я слушала классную музыку, шедевральную музыку, вечную музыку. Снова и снова скучала по своему пианино.

А что же И.? Монсьер читает газету «Криминал», он покупает ее, когда едет на электричке к родителям, к жене, проведать сына, он смотрит реалити-шоу по телевизору, самые жвачные комедии, он слушает дешевую музыку, простую музыку, о черт, И. никогда не был эстетом, ему сложно воспринимать нездоровый индивидуализм, в который я зарываюсь из последних сил, как в железную хватку последней надежды на спасение; я ныряю в Бодлера и Рембо, окружаюсь картами Таро, я подвожу веки сухими чернилами, которыми переписывала Бодлера и Рембо, и могла картавить по-французски, я давлю на газ, утапливаю педаль в пол, несясь по малахитовым рощам, курю «Мальборо», как опиум, я бьюсь лбом о стену великой живописи и поэзии, это и называется уход в упадничество.

Дантес отмежевывается другими оградами, он, товарищ старшина И., озабочен посеребрением молочных болящих зубов сына, Дантес читает самый смрад, газетное папье-маше, что тает в руках под октябрьским дождем на железнодорожной станции, его

³¹ Англ. «И я всегда сижу здесь, смотрю в дверной проем, И он всегда сидит напротив, поет то, что должен: «Степногорск, все поезда вечно проходят мимо, Степногорск, ни один поезд не придет сюда к нам.»

паровозы ходят с большими интервалами, он мерзнет там, под козырьком, он пьет крепкий алкоголь, на что хватит денег, я ненавижу эту фразу, на что хватит денег, нет денег, нет денег, нет денег! В Черных Садах под одной крышей живет заплаточный реалист и его неизменный противник – увешанный магическими письменами декадент.

И мы сталкиваемся, черт, мы сталкиваемся, шилом и пластилином, он не может меня убедить, потому что ко мне не подступиться, я не могу его сломать, потому что он не сопротивляется, а лишь резиной растягивается по любым точкам зрения; с каких пор сочетание каменной непреклонности и гуттаперчевой податливости, на первый взгляд, должно приносить хорошие результаты? Я обвиняю Дантеса в отсутствии силы воли. И тут же смотрю на свое отражение в зеркале: Бог мой, а вот – само воплощение силы воли! Скала! Я могу даже перебинтовать себе ногу сама! Могу есть рис второго сорта и жить в холодном доме на окраине на своим трудом заработанные деньги! *Übermensch*³²! Я жду Дантеса после каждого полета дома, но, стоит его увидеть в коридоре, как тут же хочется сбежать куда подальше через окно, чтобы даже не здороваться, чтобы даже не соприкоснуться.

Я смотрю в окно, когда он уходит в рейс, мы машем друг другу сладкими ладошками, я провожаю его у кухонного окна в небеса. И я вываливаю коробку книг на пол, расчерченный в классики стихов Гёте, я достаю книги, и строю из книг стену, кирпичной кладкой замуровывая книгами это ненавистное окно в кухне. Из него всегда дуло в спину. В него я махала на прощание Монсьеру Бортпроводнику. Кирпичи весело улыбаются мне книжными корешками – окно полностью заставлено моими защитниками, мы построили оборону.

И, забравшись на стол, я открываю томик святого Элиаса Канетти, призыв профессора Кина, обращение его к своим книгам, агитирующее начать войну супротив главной злодейки – экономки Терезы, мещанки, разумеется. Я читаю громко и с выражением:

- «Не переоценивай силу врага, народ мой! Ты раздавишь его своими литерами, пусть твои строки будут дубинами, которые обрушат свои удары на его голову, твои буквы – свинцовыми гирями, которые повиснут у него на ногах, твои переплеты – латами, которые защитят тебя от него! Тысяча хитростей есть у тебя, чтобы его заманить, тысяча сетей, чтобы его опутать, тысяча молний, чтобы его разmozжить, - все это есть у тебя, мой народ, сила, величие, мудрость тысячелетий!»³³.

В один из последующих волшебных дней просматриваю расписание полетов, перенося ближайшие рейсы в свой ежедневник, задумчиво крутя в руке свой бэйджик «Kleo», и тут громом среди уже не совсем ясного неба, опасным семенем-зерном зарождается новая тяжелая мысль: «Надо увольняться». Я закидываю эту мысль куда подальше, не ведая, что расстояние не влияет на глубину попадания.

Мы получаем зарплату и начинается лихорадка. Впервые идем в ресторан, покупаем друг другу черные жилетки, покупаем еще кучу всякого барахла, дабы показать самим себе, как мы счастливы вместе. Мы засыпаем в разное время и работаем в разное время, и я по-прежнему читаю «Цветы зла» Бодлера, а Дантес, как и всегда, читает «Криминал», свертком ухлопнутый в карман куртки, я хочу поехать в Большой Город, в Кафедральному Собору, к реке, а он хочет смотреть телевизор, просто потому что это – телевизор, отдых и спокойствие. И мы по очереди ставим в плейлист свои любимые

³² Нем. «Сверхчеловек»

³³ Э.Канетти «Ослепление».

песни, у нас больше нет общих любимых песен, приходится делить звук из колонок на свой и чужой; мы не смотрим друг другу в глаза, но вдруг непонятно с чего начинаем синхронно улыбаться всем общим знакомым и резко братья за руки, дабы нас не уличили в латентной трещине. Трещине, раскалывающей эпохи, разделяющей лейкоциты, отделяющей первую и третью группы крови, положительный и отрицательный резус-факторы, кажущуюся сходность темноволосья и худобы, каждого – со своими причинами: голодным детством или анорексичным поведением во имя искусства ради искусства. Мы плачем, стоит кому-то пошуметь вешалками в покосившемся платяном шкафу, на оба голоса неоднократно разложенная реплика: «Лучше я уйду. Невыносимо будет смотреть, как ты уходишь».

И мы плачем, и обнимаемся, за спинами перестукиваются вешалки в покосившемся платяном шкафу, и мы курим, мы пьем чай, мы работаем, мы летаем, мы ходим в магазин, мы сидим на диване и едим бисквитный торт, пока я чуть ли не сливаюсь с книгами, а Дантес смотрит телевизор.

Еще пока одним местоимением мы оба боимся читать вслух отходную молитву, произнести вслух – значит, принять на себя ответственность, а мы, это ведь мы, самые умные и красивые, мы не могли так ошибиться, поэтому никто и не осмеливается прочесть отходную молитву, вместо этого мы едим бисквитный торт и готовимся ко сну, сохраняя хорошую мину при плохой игре, мы продолжаем идти в ногу, одним размеренным шагом, мы идем нога в ногу за гробом, смотря на гроб вдвоем, но не переглядываясь друг с другом, мы идем с Дантесом рядом и вместе, начиная и замыкая скромную траурную процессию, мы снова хороним, жаль, не скопили денег на более пышные похороны, на грандиозные похороны нашей «первой и последней великой любви».

* * *

"Я достаю книги, и строю из книг стену,

замуровывая книгами
это ненавистное окно."



«ПРИЗНАКИ ПАССАЖИРА ЭЛЕКТРИЧКИ: разоблачение Пассажира.

О вечно провожающие до двери! Грусть и тоска в ваших томных глазах! Мы-то ничего, мы будем опаздывать слегка или намного, мы промокли до нитки под осенними злыми ливнями, а тут вы еще исхлебаете наши опоздавшие до поцелуев щеки шипастыми ядовитыми словами. Мы так долго ждем электричку, мы всего-то хотели на пару часов съездить навестить ребенка, мы-то ничего, мы ждали на долбанном перроне ту чертову электричку, чтобы вернуться поскорее к вам, полубогам, мы хотели, мы правда хотели, только она не пришла, сволочь, эта зеленая электричка! А вы звонили нам, кричали, что ненавидите, вы ненавидите нас, о нет! Мы ответили вам, не надо нас ненавидеть! Это все электричка, она не пришла вовремя, мы стояли и ждали электричку, а вам этого никогда не понять, вам-то ничего никогда подобного не понять, это у нас есть дети, и все деньги уходят на их возвращение, а вам на что деньги? Ах, вам тоже нужны деньги? На новые книги? О, не смешите меня! Вам – реализовываться, нам – выживать, вот в чем разница! А выживать – цель куда более благородная! Вы еще смеете ненавидеть нас, несчастных, в долгах как в шелках изумрудных электричек? Вы посмеете хоть слово сказать против нас, детных, на пособии сберегших на молочные смеси? ДА КАК ВЫ СМЕЕТЕ НЕНАВИДЕТЬ НАС, БУРЖУИ??? Мы-то знали, что это добром не кончится. Мы к вам бежали сбивая стоптанные без того башмаки, мы к вам ото всех подальше неслись, мы всего-то ничего, мы всего-то пропустили одну электричку, а вы с нами так?!? Вы, полубоги, вы охамели вконец, вашими поломанными пальцами тыкаете в наши уязвимые синяки. Мы – жертвы обстоятельств, выходцы из низших социальных слоев, хотели подарить вам небо, а вы еще просите, чтобы мы предупреждали заранее, если вдруг мы не вернемся домой этой ночью! Не слишком ли много вам, полубоги? Ведь вас так смешило, когда летом мы, пьяные, уезжали в депо и не ночевали дома, в тех наших домах, вы, тогда еще проживавшие на улицах имени Ротшильда, хохотали до упаду над нашими выходками, а теперь вам не нравится, что мы остались прежними? А мы держим на себе всю тяжесть бытия, невыносимый небесный купол и расписание электричек, сфотографированное на мобильный телефон – вот это все мы держим на себе! А вам, а вам и не снилось! Вы наглые, вы на всем готовом, вы даже голодаете лишь по своему желанию!!!»

(«X-Avia», выпуск от 18 октября)

Глава 24.
Трупоразъятие

*«Запах улиц, романтика трущоб
Меня волнует, мне покоя не дает,
Запах улиц, романтика трущоб,
Как наваждение, меня к себе влечет,
Запах улиц, романтика трущоб
Меня волнует, мне покоя не дает,
Запах улиц, романтика трущоб,
О этот запах улиц...»*

*Но от него меня рвет,
Меня рвет,
Меня рвет
Из рта в рот.»*

(гр. «Дети Хурмы»)

Дантес – к Кристабель:

Клео, ты всегда жила в высоких стеклянных башнях на последних этажах, к твоим окнам подлетали вертолеты, чтобы доставить тебя на землю, механические стрекозки рокотали, покуда твои лакированные туфельки на таком всегда устойчивом каблуке ступали осторожно на асфальтовые паласы. Ты смотрела на небо, там, на высоте, я шел по канату, натянутому от Шпиля Кафедрального собора до Горы в Черных Садах, через все провода на столбах вдоль дорог за Большим Городом, там я бродил по канату, играя на флейте, и народ подкидывал вверх монетки, они попадали мне в карманы, вот так я и зарабатывал на еду и ночлег, пока ты, Клео, смотрела на небо, вспоминая море, ведь они одного оттенка.

Внизу, на вертолетной стоянке, на автомобильной парковке, Б., твой муж, ждал тебя, крутя ключи от автомобиля на указательном пальце – жест всех богачей моей жизни. Клео, ты по привычке хотела заупрямиться и сказать, что поедешь на своем любимом праворульном пикапе «Тойота Хайлак», который одного морского сердца с тобой. Тогда твой муж напомнил, что сегодня ты в форме, и что сегодня ты – взрослая, он сказал: «Кэтрин, это не выходной день». Тогда моя Клео внезапно вспомнила, что и впрямь, не выходной, нельзя выкидывать ладошки, носить джинсы и слушать брутальную музыку. Сегодня Клео улетаёт в заоблачные дали, блоковская стюардесса, «дыша духами и туманами», в аэропорт ее доставят хромированные тачки, и ее волосы, ее все еще морской воды волосы сегодня закручены, спрятаны, уложены и отутюжены по всем стандартам рабочих авиационных будней.

Пока ты сейчас прилетаешь ко мне, Клео, на лезвиях-крыльях Боингов, я готовлю тебе на ужин картошку с грибами, ты вламываешься в наш тесный коридор, выдыхая: «Любимый! Твоя Кристабель вернулась из каменоломни!» Я не могу себе простить, что ты торчишь здесь из-за меня, твоей трущобной музы, твоего Дантеса, потратившего последние деньги на еду, а не на билеты в Зал консерватории, когда я вижу твои усталые

глаза, обожженные сухим самолетным электричеством, и то, как ты по старой привычке прячешь их за темными очками, последними предметами былой роскоши, из которой я вырвал тебя, любопытную до приключений, и увез сюда, в Черные Сады, я не могу себе ничего простить. Как ты бежишь по пригорку мимо деревни, в которой полно заборов, ко мне, к шлагбауму, Гора закрывает нас от промозглого осеннего ветра, я бужу тебя с утра в рейс: «Кристабельхен, пора на работу». Кристабель вскакивает, у моей Кристабель болят ножки, так, что с каждым днем работа становится все более и более невыносимой, а там, за долами, за горами, за широкими полями, тебя до сих пор ждет твой муж, Б., богач из богачей, духовенство группы крови наивысшей пробы, он крутит на пальце сверкающие ключи от сияющих автомобилей, он доставит Кэтрин куда угодно, купит все, что она пожелает, простит все грехи твои и перекрестит на ночь. Он ждет свою Кэтрин, вспомни, Кристабель, как ты толкнула его локтем, и показала пальцем на меня, ступающего по веревке и играющего на флейте, чтобы заработать себе ежевечерние гроши на пиво и сигареты, ты пихнула в бок своего мужа, подняла бровь и прошептала ему на ухо: «До чего только жизнь не доводит людей!» И вы скрылись в своем авто, подняли вверх зеркальные стекла. Вечерело.

Наконец, иным утром, когда моя умница из хорошей семьи, моя благородная Кристабель возвращается с ночной смены из нашей каменоломни, я говорю ей: «Нам надо расстаться». Мне – по канату вниз, к постоянно высмеиваемой тобой мещанской обыденности, к общественному транспорту, к простым женщинам, из-за которых не прыгнешь выше головы, не сиганешь через шлагбаум. Ты считаешь меня слабаком, трусом, предателем, презренным и конченным. Я хочу вернуть тебя туда, откуда взял, на твое законное место. «Я не мебель!» - крикнешь ты и запустишь в меня ножом, который я нашел воткнутом в дерево в Черносадовском лесу, когда впервые пошел туда за грибами. «Не смей решать за меня, где мне лучше!» - крикнешь ты, упадешь на наш жалкий диван в рабочем плаще и разрыдаешься. Я буду что-то вполголоса аргументировать, ты пристрелишь меня одним глазом из-под подушки, прежде чем заплакать снова, на несколько часов кряду.

Потом потянутся долгие дни агонии. Их будет всего десять. Я буду смотреть в потолок, ты – беспрерывно плакать. Поочередные походы на кухню, чтобы поговорить по телефону тебе – с мужем, мне – с женой. И ты, Кристабель, так отчаянно пытаешься воззвать к моей логике, к рациональности, ты дергаешь меня и призываешь сконцентрироваться, я же ртутью расползаюсь по липкому линолеуму, я говорю тебе, что я – ртуть, и что то, что в моей голове – ртуть. Ты смотришь в чашку с чаем, ты больше не ходишь на работу, ты на больничном, ты пишешь наши фамилии на пятнадцати языках на обоях, пока я хожу в каменоломню на смены.

- Ртуть, Дантес? – однажды говоришь ты. - Как у тебя всегда все легко. Мне бы твою ртуть. У меня никакой ртути. Только свинец. Свинцовые горы на плечах. Слышишь, как хрустит? Вот-вот, и в голове, и на плечах – один свинец. Это почти физически тяжело.

А я не могу даже пошевелиться. Мы ходим в кафетерии на задворках Черных Садов, а бытие утекает, подобно песку сквозь пальцы, прочь от нас, гремит железнодорожными гробами на переездах, устукивая прочь, прочь от нас, мимо нас. И я начинаю плакать с тобой, мы перестаем есть, теперь мы сидим на кухне и укорачиваем наши форменные ремни. Я пишу смс своей жене, бог мой, как она по мне скучает. И бог мой, как я мог так ошибиться и втянуть тебя во все это. Когда я возвращаюсь в комнату, ты уже спишь, я

обнимаю тебя и говорю во все твои тяжелые свинцовые горячеглазые сны: «Возвращайся домой, Клеопатра».

Подписав документы о переходе на осенне-зимнюю навигацию, я иду домой вдоль деревни, в которой до черта заборов, на этом месте я в сентябре выбил себе палец на ноге, когда пнул с досады свой мобильный телефон, когда ты сказала, чтобы я катился к черту вместе со своей женой. Я-то всегда старался хотя бы казаться либеральным, рулил желтыми гоночными машинками на моем древнем компьютере, пока ты говорила по телефону с Б. на кухне. Ты даже не сменила свой номер. Ты даже не собиралась менять свой номер, а я всегда стремился выглядеть крайне либеральным и всё понимающим.

Датой, которую ты черным крестом вычеркиваешь в своем ежедневнике, я возвращаюсь в наш дом после ночи в каменоломне, и не застаю в прихожей твоего серого пальто и синего плаща. Не вижу твоих книг, гитар, пряжи; я сижу, не раздеваясь, на тумбочке и думаю. Ты оставляешь мне на столе «Вместо письма» Маяковского (см. Приложение 2). И я еле-еле его дочитываю, держа в руках тетрадный листочек, свинцово-тяжелый, он ломает мои пальцы, он выбивает мои плечи, я прогибаюсь, сломанным ураганным ветром шлагбаумом я ложусь на кровать, и начинается жизнь, и заканчивается жизнь, и начинается жизнь.

* * *

*«Уехала!
Как молоток
влетело в голову
отточенное слово,
вколочено напропалую!
- Задержите! Караул!
Не попрощался.
В Коджоры! –
Бегу по шпалам,
Кричу и падаю под ветер.
Все поезда
проносятся
над онемелым переносьем...»*

(А.Крученых)

* * *

Я ничего не ем, и все подрезаю и подрезаю свой форменный ремень, думая, что есть все-таки нужно, а то, не дай бог, не пройду медосмотр и меня уволят. Я превращаюсь в шлагбаум на нашем первом переезде, у станции, ведущей прочь из Большого Города, пригородные зеленые электрички, как раз моего любимого цвета, все тут мне по статусу и по нраву. А ты – второй шлагбаум, тот, что выходит на шоссе в аэропорт и держит назойливые авто на расстоянии от дорожных билетных экспрессов. На экспрессе теперь ты едешь на работу, я знаю, он идет напрямик от твоих белокаменных палат в Большом Городе до каменоломни авиакомпании «Schmerz und Angst».

Клео появляется на работе спустя пару недель. Холеная и отдохнувшая, Клео покупает в Duty free в Лондонском Хитроу, куда нас забрасывает судьба, алкоголь и парфюмерию,

Клео работает с удовольствием, делает подарки своему благоверному Б., она носит с собой в каменоломню фарфоровую кружку с Моцартом, которую я ранее не видел у нее в Черных Садах, она с ней теперь не расстается. И пока мы взлетаем, два шлагбаума по разным дверям самолета, я говорю ей: «Мы все правильно сделали. Сама подумай, ты бы ушла от меня в любом случае, но чем позже, тем больше ненависть. Черт, да включи ты голову! Кто ты и кто я! Ты – из центра города, я – с Казахстана, у меня никогда не было за душой...»

Ты перебиваешь меня:

- Я уже придумала даже, как назвать эту главу. «Трупоразъятие»!

Эрос и Танатос ухмыляются в аду, любовь и смерть, куда прозаичнее, нас даже не хватило на более оригинальную фабулу, подумай сама, а сколько усилий, какой безумный разгон был, на каком высоком эшелоне мы шли, покуда у меня не закончилось топливо, а у тебя не разломило фюзеляж (в чем ты не упустишь возможности обвинить меня), и куда же мы грохнемся? Вниз, на эту тяжелую брентную землю, материальную и материалистскую землю, об острые рифы быта и бытия, в удобное и до нас продуманное до мелочей небытие, в обычную жизнь, ту жизнь, от которой я устал, которая ломала мне позвоночник, в ту жизнь, от которой ты отмахивалась и от которой пряталась за стеклами очков и широкими полями шляп – в ту жизнь, которая перемелет нас мясорубкой и выдаст на прилавок готовый продукт. Я знаю эту жизнь, я жил ею с рождения, в отличие от тебя, поэтому спи спокойно, Клео, на последнем этаже своего воздушного замка, смотри на бесконечное небо, где мы работаем, но не смотри вниз, никогда не смотри вниз, туда, где поселок «Черные Сады» и наш дешевый кофе – там ты не найдешь себе ни крупинки вдохновения, уж я-то знаю, уж я-то на этом свете не первый год живу.

Приложение 1.
ПИСЬМА ДАНТЕСА К КРИСТАБЕЛЬ В ПЕРИОД «ЗОЛОТОГО ВРЕМЕНИ».

2 июля, 19:34

Я был еще рядом с тобой и уже сходил с ума!

4 июля, 3:52

И ты есть бог, бог навсегда. Да святится имя твое!

8 июля, 9:43

Если ты меня бросишь – это логично, но будет ужасно больно! Прости меня, уroda, если сможешь. Я очень тебя люблю.

9 июля, 21:10

А может и все 49. Школьница моя, я не позволю себе потерять тебя!

10 июля, 23:48

Я не буду считать это обязанностью! Девочка, мне только одна ты нужна! И я люблю тебя сильнее, чем вчера, а завтра буду любить сильнее, чем сегодня! Прости, наверное, я старомоден!³⁴

11 июля, 0:04

Я дома, почти. Жаль! Люблю тебя, и буду любить, даже когда я буду на небе³⁵! И меня прет всё, что происходит! Моя школьница! И только моя! Пока!

11 июля, 13:45

Завтра в 6:10 на улице Ротшильда, да? Я тебя наконец-то поцелую.

11 июля, 14:27

А еще я сегодня «Yellow river» утром слушал! Я тебя еще больше полюбил, хотя думал, больше некуда! Ел пиццу и вспоминал вчерашний вечер. Но будут еще лучше, только мне нужно научиться писать латиницей, или разорюсь!

11 июля, 20:02

Ну вот, она пришла. До завтра. Люблю и безумно хочу тебя, моя школьница!

12 июля, 17:17

Он разбудил в тебе совесть? Он же тебя любит!

12 июля, 19:21

Завтра в 13:10. Не волнуйся ни о чем! Она меня достала! Люблю тебя! До завтра!

16 июля, 22:43

³⁴ Вольная переработка песни «Ice baby» исполнителя Guf.

³⁵ См. предыдущую сноску.

«Тормоз, визг мыслей – опять минута расставания, зубы стиснув, произнес слова прощания, теперь, как пес у телефона, жду хозяина, он давно уже молчит, а я рядом засыпаю. Буду дышать лишь минутными встречами! Мне хорошо только рядом с тобой; минуты, пожалуйста, сделайте вечными!»³⁶

17 июля, 7:12

Чтобы мне вынести мозг, тебе нужно постараться! А вообще – у меня та же ночь на кухне с выяснением отношений и, наверное, типа уходом. А я у тебя, правда, очередная любовь? Он прав?

17 июля, 7:31

Хреново как-то получается, прости меня за все, что с нами происходит.

17 июля, 7:34

Я тебя очень люблю и мне плохо, когда ты страдаешь! Что мне сделать?

17 июля, 17:05

Я никогда его не сниму, клянусь! Я очень тебя люблю и не представляю своей жизни без тебя, без твоих прекрасных глаз! Ты – моя жизнь! Навеки!

25 июля, 19:04

Да, да, да!!! Не волнуйся! Я не могу дождаться завтра!

25 июля, 20:16

Ты, наверное, разлюбила! Я насквозь промок от ливня! Все небо затянуло!

26 июля, 19:54

Твое право, а я люблю! И дожди не помогли, очевидно! Мама книгу оценила!

26 июля, 20:43

Ну что, дождь прошел? Солнышко заняло свой пост? Или мрачные тучи на твоём более чем прекрасном челе остались надолго?

26 июля, 20:54

Я не буду больше так громко, а то нас точно снимут с этой электрички! Но ты меня делаешь счастливым! И контроль отсутствует в эти моменты!

26 июля, 20:58

Я дома, позже напишу. Люблю тебя, как никто никого никогда не любил!

28 июля, 0:24

Ну что неправильно? Прости, я не трону тебя больше, если это неправильно! Просто любить не воспрещается? Пусть даже на расстоянии? МОЯ!

³⁶ Гр. «Fist», песня «Минуты».

28 июля, 21:39

Я тебя обожаю, девочка моя.

28 июля, 21:47

Да, ты мне приснилась. Проснулся и разочаровался – думал, ты рядом, но нет!

28 июля, 22:27

Кошмар. Аккуратней, не заиграйся. Я спать. До завтра, любимая моя.

29 июля, 18:34

Прости, я просто расстроился, что главная героиня ушла! Не ожидал!

29 июля, 19:22

Охренеть. Я в шоке. А то, что Серега – сын Миры. Класс! Ты – гений! Я плакал в автобусе и не знал, как описать мои чувства о прочитанном, и к тебе! Я люблю тебя, Кристабельхен!

29 июля, 19:30

Осталось 10 страниц, но почему все так похоже? Ты ведь даже не подозревала о моем существовании, когда ее писала? Откуда ты знала?

29 июля, 21:26

Не думай обо всех, и обо мне в первую очередь. Поступай, как сердце говорит! Твои мозги просто устали искать рациональность. А ее тупо нет! Обнять тебя хочу. Тебе плохо – мне плохо!

31 июля, 13:32

Я не на много опоздаю, любовь моя. И сегодня мы весь день будем вместе.

4 августа, 21:49

Я один, тоже скучаю. Скоро придет. До завтра. Целую.

5 августа, 18:04

Однозначно! И это было бесподобно! Как ты это делала? Расскажи! Хочу тебя!

5 августа, 20:05

Чего молчим? Муженек дома?

5 августа, 20:10

Тронут! Причем, на всю голову! Причем, вами!

8 августа, 20:17

Не хочу с ней разговаривать. Дожить бы до завтра. Хочу тебя.

8 августа, 20:25

Ты всегда круче. Но я буду стараться для тебя. Все для тебя теперь.

11 августа, 7:55

Привет. Я тебя не дождался. Ты где?

13 августа, 0:48

Да, я тоже почти дома. Жду тебя. Хочу. Хочу. Хочу. Хочу. Хочу. Хочу. Хочу. Хочу.

16 августа, 20:53

Одиночество всегда без тебя!

18 августа, 20:18

Боже, я люблю тебя, очень! Как никто никогда никого не любил! Ты навсегда в моей жизни и навечно моя, где бы ты ни была!

19 августа, 23:10

Да, я дома. Я так переживал за тебя!

19 августа, 23:29

И я тебя люблю, моя хорошая. До завтра, спи сладко. Я с тобой навсегда!

20 августа, 22:24

Напишешь ему? Ради тебя все-таки!

20 августа, 22:38

Это еще почему? Не говори глупостей – все же уже решили! Или нет?

20 августа, 23:30

Спокойной ночи, люблю тебя! Приснись мне, пожалуйста!

21 августа, 22:40

Ты моя умничка! Хорошая компания тебе. Я почти дошел. Целую тебя!

22 августа, 4:03

Нравится работка? Я люблю тебя, сильно! И очень скучаю, а еще так долго до вечера!

25 августа, 22:02

Паровоз в 23:20. На метро не успею! Поеду на автобусе. Целую. Люблю тебя. Удачного полета. Все у нас будет и сложится все хорошо!

25 августа, 22:41

Конечно. Держись, любимая. До завтра. Люблю тебя бесконечно...

25 августа, 23:04

Конечно, обживем, будет лучше всех. Я в метро уже. Через час буду дома. Хочу скорей тебя увидеть, обнять, поцеловать, вдохнуть тебя, любить. Любимая!

29 августа, 18:08

Приезжай скорей. Так хочу тебя обнять!

1 сентября, 7:56

Я тоже уже скучаю. Привет передам. А ты поспи еще. Ночью некогда будет.

10 сентября, 18:54

Когда я себя плохо вел? Я тоже тебя люблю, ты – смысл моей жизни! Как бы тебе этого ни хотелось – это так. Наряд узнаю – напишу. Целую. Пиши.

12 сентября, 15:07

Прости, что не отвечал, я продрых до часу. Вырубил по-тяжелому. Учю бумажки в паровозе. Скучаю очень по тебе. Ich liebe dich, meine Liebe.

12 сентября, 21:11

Ну где же ты? Мне плохо без тебя! Скорей к тебе хочу! Скорее...

12 сентября 21:18

Еще еду. Скоро буду. Боже, как хочу тебя обнять скорей! Паровоз, сволочь, никак не хочет ехать быстрее!

13 сентября, 20:37

Круто. Офигеть. Как здесь хорошо звезды видно. Этой ночью ты будешь к ним намного ближе, моя звездочка.

13 сентября, 21:59

До завтра, моя хорошая. Удачного полета. Люблю тебя больше жизни. Целую.

15 сентября, 5:43

Это круто. Я тебя люблю, мне плохо без всего, что ты делаешь, чем живешь. Все у нас будет хорошо. Целую тебя, мой котенок!

21 сентября, 10:05

Котенок, я улетел. Целую, люблю, хочу скорей уже тебя обнять!

24 сентября, 10:05

Любимая моя, я улетел. Удачного тебе дня. Жизнь моя! Целую! Люблю!

26 сентября, 8:41

Ну где же красавица моя? Когда же ее обниму и поцелую? Жду тебя, любимая!

28 сентября, 15:10

Дождь идет. И от этого еще больше болит голова... И тебя нет рядом... И не могу прикоснуться к тебе... И как до завтра дожить и не свихнуться от тоски и от этого долбанного мира... Люблю тебя и поэтому еще жив...

2 октября, 9:50

Милая, я улетел. До вечера. Люблю.

2 октября, 19:31

Солнышко мое, я приземлился. Жду тебя, любимая.

24 октября, 22:08

Такая же мягкая, как ты! Мася!

24 октября, 22:32

Вот только нашей знакомой сиротки мне в экипаж и не хватало! Чем занимается моя девочка дома одна?

25 октября, 7:06

Мася моя пушистая, я прилетел, скоро буду. В службу не пойду.

26 октября, 15:14

И я тебя люблю. Спасибо. Зарплатные квитки взял. Скоро буду. Целую.

28 октября, 22:19

Малышка, я в ***. Люблю тебя. Долго не сиди. Утром вставать. Целую.

29 октября, 7:15

Я прилетел. Скоро буду.

Глава 25.

Мост

«Я был холодным и твердым, я был мостом, я лежал над пропастью.»

(Ф.Кафка, «Мост»)

Кристабель – к Дантесу:

Последние пару недель, те пару недель, что я живу без тебя, я полюбила работу. На крыльях попутного ветра лечу в аэропорт, он больше не каменоломня, я каждый вечер крахмалю воротник, чтобы моя форма выглядела безупречно, я собираю чемодан с такой тщательностью, с таким нетерпением жду очередного рейса, что нет сил усидеть на месте. Б. организовал фотосессию для моего нового сайта, правда, на тех фотографиях я злюка и заморыш, как раз спустя три дня после того, как уехала из Черных Садов, но фото все равно классные, они профессиональные, я на них прямо суперзвезда.

Услышь меня, поговори со мной, говори со мной еще, еще жестче, говори со мной, мы всегда всё решали путем разговора, послушай меня, поговори со мной еще, и еще, и еще, и еще, я говорю с тобой за раздельные километры за часовые пояса, и мне все равно. Я говорю в кабинете врача, душевного доктора, за мои заработанные каторжным трудом в этой каменоломне, вспомни, мы вместе там работали в этой каменоломне, о черт. О черт, дни и ночи мы там работали, а ты сегодня в Вене, а я, а что я, а где я, сегодня я у своего психоаналитика, как настоящая суперзвезда, а ты в Вене, это выносит мне мозг.

В пограничной деревне, где много заборов я встречала тебя из моей любимой Вены, ты привез мне много красненьких фарфоровых Моцартов, шоколадных Моцартов, принцессу Зизи и Франца-Иосифа, там я ждала тебя, в той деревне, в черном плаще, в шляпе Джека-Потрошителя и кружевных чулках на поясе, я так встречала тебя, и ты привозил мне музыкальные шкатулки, эти скрипочки, играющие Моцарта, ты обнимал меня, и деревянные руки шлагбаумов не держали транспорт, который вез тебя ко мне. Твои руки худые, мои руки худые, мы обнимались, два счастливых шлагбаума, деревянными от сентябрьского холода руками.

А на днях я была там проездом, и деревья стылые, туман окутал лес и вывески магазинов по-прежнему горят, но там внутри никого нет и дома все пустые, и самолеты летят пустые и невероятно тяжелые сами по себе, я видела, это то, что бывает с миром, в котором нет тебя. Посмотри, во что я превратилась: я – классный шлагбаум, не сыщешь рук худее моих!!!

Пачка сигарет с надписью «Курение убивает», в первом слове обведем в кружочек буквы ИЕ, во втором – буквы АЕ, посмотри на меня, что со мной стало в поселке Черные Сады, в нашей любимой каменоломне в ночную смену, я неслась туда сломя голову, зная, что мы работаем вместе и нам хорошо работать вместе, или наш дом с вафельной скатертью на деревянном столе, развернутом наподобие доски, на которой ты гладил походным утюгом нашу форму.

Датой, которую я черным крестом зачеркнула в своем ежедневнике, я провожаю тебя на рейс. И ты уходишь так быстро, что мы не успеваем даже напоследок покурить на кухне. Я жалею об этом заранее, а ты еще ничего не знаешь. Дантес, я закрываю за тобой дверь в шесть вечера, и это мои последние часы в нашем доме. И вновь стены сжимают меня бетонными тисками, как когда ты убаюкивал меня: «Возвращайся домой,

Клеопатра», а я слышала, я все слышала, я слышала, как ты говорил с ней на кухне, она жаждет тебя обратно, как же так, у вас же общие дети, зачем же ты жаловался мне на нее, если теперь не знаешь, куда спрятать свой телефон, я все вижу, я все слышу, я призраком-следопытом лезу в твою голову, крючком для вязания цепляю какие-то детали, но не могу, никак не могу вытащить на свет божий истину. И в сотую степень возведенных страданий я падаю упоенно, устало, обессилено, я падаю вниз с такими стараниями набранного эшелона на наш жалкий диван. Книги, мои старые, ласковые, умные книги, молчаливые спасители, падают вместе со мной, сухими штабелями на кровать, в сумки, в прихожую, всё – вон!, мне тошно от мыльнооперности происходящего, мне всегда импонировало, какие мы с тобой честные, о, как мы друг с другом разговаривали!...

Я встречаюсь с Б. в Большом Городе, и снова падаю, теряю равновесие, пустоглазая, падаю в его автомобиль, и мы едем в Черные Сады забирать мои вещи. Холодная пасть багажника захлопывает исцелованные тобой рукава моих рубашек. Половину из этого я при тебе даже не успела ни разу надеть. И я буду плакать еще триста лет и три года, пока потоп не укутает толщей воды все взлетно-посадочные полосы, железнодорожные пути и яблоневые рощи, пока я снова не распадусь на морские частицы, пока от меня не останется ни строчки, ни имени-фамилии, ни воспоминания, вот как бы мне хотелось, если бы только так стало, потеряй я тебя, почему тебе не было бы лучше убить меня?

На столе я оставляю тебе «Вместо письма» Маяковского (см. Приложение 2). Я уезжаю из Черных Садов, пока ты покоряешь вечные небеса, я уезжаю в Большой Город, на улицу Ротшильда, в дом Б., очевидно, напиваюсь ликерами, пока ты летишь обратно, думая, что я жду тебя, что я еще не проснулась, очевидно, очевидно, черные деревья мелькают по краям дороги, «качая голые сучья в стынувших небесах»³⁷. Потом у меня будут фотосессии, новые темные очки, и толпы людей, очевидно, будут читать мои книги, я буду ходить к психоаналитику, потом мы встретимся на работе, и ты скажешь, наконец, Клео, ты на своем месте, Клео, у тебя есть все, ты везучая девочка, Клео. А я не стану говорить, что всегда любила поэму Кольриджа, не стану просить называть меня Кристабель, не буду называть тебя Дантесом. Мы будем работать вместе, и кирпичом в горле встрянут наши фамилии, щебенкой на зубах заскрипит правда, правда, кислотой желудочного сока рвущаяся вон из горла, но лучше проглоти, проглоти, лучше молчать, на худой конец, сплюнь в туалет, но не произноси вслух, когда же мы успели стать такими лицемерами?

* * *

Еще спустя месяц мне впервые за долгое и ужасное время снится далекий и родной Владивосток, через месяц ты запоздало и без энтузиазма даришь мне золотой портсигар, я без энтузиазма тебя вяло благодарю, мы до сих пор работаем вместе в нашей каменоломне. Через месяц я уже могу спокойно конвертировать жизнь в текст и не верить, что это произошло на самом деле.

Мне хотелось закончить этот роман той сценой на кухне, когда ты говоришь, что было бы неплохо купить какую-нибудь банку, в которую можно пересыпать кофе. В то мгновение, в тех декорациях и был весь ты, именно тот ты, которым я тебя любила. Я запомнила этот момент, будто сфотографировала тебя в растянутом свитере, и окно, и кухонный стол. «Надо бы найти банку что ли какую в магазине, чтобы можно было кофе в

³⁷ Г.Гейм, «Плавучими кораблями».

ней держать, а то так неудобно, открывать постоянно...» И Кристабель промямлила в ответ что-то заурядное вроде: «Ну да, надо бы». И улыбнулась. Они, Дантес и Кристабель, какие патетичные имена!, улыбнулись друг другу. Осеннее солнышко подмигивало сквозь тусклые жалюзи, чайник свистел на плите, несчастные влюбленные детки, худосочные и невыспавшиеся, собирались в рейс. На этом по идее и должен был закончиться роман, по главам выходивший в газетке «X-Avia».

А здесь, во вновь обретенном, в огнями витрин и габаритными огнями подсвеченном неутомимыми прожекторами Большом Городе я, твой горький терновник, медленно, но верно, все же покрываюсь корой. И наконец-то могу снова писать тексты, не веря, что сюжетные перипетии произошли со мной в реальной жизни. Кора крепнет. Я стала первым в мире шлагбаумом за печатной машинкой.



Приложение 2.
СТИХОТВОРЕНИЕ В.МАЯКОВСКОГО «ЛИЛИЧКА! (ВМЕСТО ПИСЬМА)»

Дым табачный воздух выел.
Комната -
глава в крученокосском аде.
Вспомни -
за этим окном
впервые
руки твои, исступленный, гладил.

Сегодня сидишь вот,
сердце в железе.
День еще -
выгонишь,
можешь быть, изругав.
В мутной передней долго не влезет
сломанная дрожью рука в рукав.

Выбегу,
тело в улицу брошу я.
Дикий,
обезумлюсь,
отчаяньем иссекаюсь.
Не надо этого,
дорогая,
хорошая,
дай простимся сейчас.

Все равно
любовь моя -
тяжкая гиря ведь -
висит на тебе,
куда ни бежала б.
Дай в последнем крике вырветь
горечь обиженных жалоб.

Если быка трудом уморят -
он уйдет,
разляжется в холодных водах.
Кроме любви твоей,
мне
нету моря,
а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых.

Захочет покоя уставший слон -

царственный ляжет в опожаренном песке.
Кроме любви твоей,
мне
нету солнца,
а я и не знаю, где ты и с кем.

Если б так поэта измучила,
он
любимую на деньги б и славу выменял,
а мне
ни один не радостен звон,
кроме звона твоего любимого имени.

И в пролет не брошусь,
и не выпью яда,
и курок не смогу над виском нажать.
Надо мною,
кроме твоего взгляда,
не властно лезвие ни одного ножа.

Завтра забудешь,
что тебя короновал,
что душу цветущую любовью выжег,
и суетных дней взметенный карнавал
растреплет страницы моих книжек...
Слов моих сухие листья ли
заставят остановиться,
жадно дыша?

Дай хоть
последней нежностью выстелить
твой уходящий шаг.

Часть третья.

ВРЕМЯ – ЭПСИЛОН.

Глава 26.

Эпсилон

*«В слове «ель» мы Е услышим,
Букву Е мы так напишем:
Ствол и у ствола три ветки.
Букву Е запомним, детки.»*

(детское стихотворение «Алфавит»)

Деревяшка стучала не тремя, а аж десятью ветками пальцев Кэтрин по печатной машинке, чьи вытягивающиеся и тут же опасливо прячущиеся обратно железные когти (физическое продолжение деревянных фаланг?) корябали незапятнанные свитки изначально мертвого пергамента, впрессовывали в него угловатым механическим шрифтом нестатичные, текучие, беспокойные мысли. А я стучала и стучала когтями печатной машинки, сидя за письменным столом, стилизованным под девятнадцатый век, всё в этой комнате заботами любимого Б. и его же познаниями в мебельной сфере было призвано обустроить мне идеальный уголок писателя. Слова нещадно клевали бумагу, колесико прокручивало ее наверх, процесс настолько меня завораживал, что фундаментальные и монументальные сложные распадалась на слоги, а те – на буквы, регистры щипали и щипали листы, скрипучими руками-подпорками я взяла голову (уже не особо тяжело) в шершавые ладони (почти декабрь как-никак) и уперлась локтями в столешницу. Клекот железных клювов над бумагой на время затих.

Е – это моя буква. Потому что она является младшим братиком Э, а Э – моя любимая буква. В пунктах обмена валюты взгляд всегда останавливается на значке, обозначающем евро. Много лет назад Б. купил мне чехол для телефона, сшитый из розового вельвета, на котором черной гладкой тканью красовалась здоровенная буква Е. В физике Е обозначает энергию. В информатике – пустую строку. Это жаргонное обозначение наркотика экстази, и нота ми в музыке. На Е начинается моя фамилия, а ее я всегда пишу впереди имени и всех остальных данных. Еще до знакомства с Б. у меня был значок с буквой Е в звездочках. Звездочки я люблю так же сильно, как эту букву, у меня есть серьги в виде звездочек, подвеска, кольцо – морская звезда, и тому подобное. Всегда стремлюсь окружить себя многозначительной атрибутикой, которая, как мне кажется, будет выражать всю мою грандиозную сущность перед окружающими. Покупаю тетради с черепами! Хожу вечно худая и бледная. Обожаю японские автомобили – они символизируют мою морскую родину. И волосы у меня приморские – гладкие, прямые, иссиня-черные, настоящие японские волосы уроженки города Владивостока. К волосам я отношусь особенно трепетно, ведь черные как смоль пряди – это также и все мои творцы-мастера от святого искусства, отвергнутые общиной художники-страдальцы, мертвые поэты. Белоснежка тоже черноволосая, летаргическая, заколдованная, лежит она в хрустальном гробу, едва распробовав на вкус сочное, летнее, ядом начиненное яблоко.

Летом Дантес подарил мне серебряный браслетик, и я носила его, не снимая. Прилетев на остров Кипр, возилась с барахлом на багажных полках, и зацепилась браслетом за что-то, сломался замок. Тем же вечером И. плоскогубцами закрутил замок так, что теперь браслет нельзя было ни открыть, ни закрыть. Повода его снять и вовсе не осталось. Я дышала в шею Дантесу, говорила, что меня похоронят вместе с этим браслетом. Позже,

уже здесь, Б. купил мне в одном бутике на улице имени Ротшильда серебряную «Е», и ее я носила на том же запястье.

И вот недавно, дождливым днем, после невероятно тягомотного рейса я покупаю энное количество пакетиков с перекисью водорода и щедро поливаю этим добром несчастную свою голову. Ближе к полуночи приходится бросить Б. ночевать в одиночестве и ехать в круглосуточный салон продолжать начатое. Еще несколько дней безумных усилий, сожженный аммиаком скальп, и я превращаюсь в не просто первый шлагбаум за печатной машинкой, а в первый и единственный златоволосый шлагбаум за печатной машинкой. Обесцвеченная башка вызывает куда больший ажиотаж и резонанс в обществе, нежели чернильная. На полке в ванной комнате собирается аварийно-спасательный арсенал средств из серии «специально для блонд». Пока я собираю арсенал по разным магазинам Большого Города, трачу на это невероятное количество мыслей и сил, так, что на горькие страдания практически ничего не остается.

Вторым шагом на пути к социальной пригодности и ассимиляции идет покупка золотой цепи на шею с золотым же кулоном – прописной буквой «Е». Разложив перед собой дома сие штампованное богатство из сетевого ювелирного, не могу нарадоваться собственной изобретательности и тому, какие ловушки догадалась расставить своему неугомонному подсознанию. Я не люблю желтый металл в принципе, но не могу не носить свою милую букву. Она будет у меня на шее, постоянно на виду, поэтому нельзя допустить моветона, смены акцентов и наличия на себе чего-то второстепенного из белого металла, скажем, из серебра. Натюрлихь. Зэльбстферштендлихь! Весело и бодро кусачками, зажатými в левой руке, я «расстегиваю» подаренный Дантесом браслет, и сто тридцать тонн свинца в одну секунду падают с моих плеч.

В бумажный пакет с надписью «Airport Vienna», который я берегла, о, как я его бережно хранила!, один за другим складываются подарки нашей медовой эпохи, подарки Дантеса, которые меня больше не любят, сувенирчики, которые я коллекционировала в Садах, которым со мной пусто и неинтересно. Итак, в именной венский пакетик я складываю следующее:

1. Серебряный браслет.
2. Серебряная подвеска в виде викторианского сердца на тот же браслет.
3. Бензиновая зажигалка (на дне маркирована «made in Austria»).
4. Брелок-игрушка из бизнес-класса (лиловый слоник).
5. Шкатулка для драгоценностей, сделанная из красного дерева, с ликом Моцарта на крышке.
6. Музыкальная шкатулка. Маленькая скрипочка крутится вокруг своей оси и играет «Маленькую ночную серенаду».
7. Фарфоровая фигурка Моцарта.
8. Фарфоровая фигурка принцессы Зизи.
9. Три открытки с видами Вены. На обороте одной из открыток следующая надпись: *«Этих двух человечков передал тебе из Вены Вольфганг. А я их доставил с любовью и нежностью, которую испытываю к тебе, любовь моя. Всегда с нетерпением жду встречи с тобой, любимая! Твой я.»* И размашистая подпись «И...» в круге росчерка черной шариковой ручки.

На следующий день вручаю пакет обратно дарителю, и мы криво шутим, что с ним он походит на школьника, несущего с собой завтрак. Мы всеми транспортными средствами стремимся побыстрее разъехаться по домам. Он – лечить больное ухо, я – к станку. Меня невероятными усилиями оттаскивают от скрипторского станка, мне хочется оклеиться напечатанными страницами будто мумии, завернутой в бинты, и ни на секунду не отрываясь от клавиш, стучать и стучать буквами, расфасовывать по новым абзацам, разлиновывать по особым строкам, печатать и печатать без перерыва.

Меня вновь раздражает работа, бесит Дантес (мои смс по поводу рейсов и прочей рутины достигают уровня невиданного красноречия, его же послания отличает слог простой и понятный, за что получают кучу упреков в отсутствии у них художественной ценности, он же не может понять, чем я недовольна), меня сводит с ума подкрававшаяся на фоне предыдущих бедствий незаметно зима, с ее садистскими выходками с утра, во время прогрева автомобиля, ночью у окна и где угодно еще – везде проклятый морозный ветер так и норовит опростудить! Единственное желание – добраться до дома, чай-кипяток, кровать и печатать. И печатать. Приступ острой графомании. Рывкать по телефону на всех, кто посмел отвлечь меня от священнодействия.

Сворачивать карту сражения, прощаться ныне насовсем с Черными Садами и сотнями зеркал отраженными вопросами «Как? Зачем? Почему?», погружаться на дно. Дно – это всегда сознание. «Я побывал в своем сознании, это такая тонкая линия...» Убирать показное, убирать воинственное, провожать навсегда любимого Моцарта, и выходить на финальные соревнования. На этот раз за букву Е.

Вообще-то я очень редко называла Дантеса его именем. Полное имя начинается на букву Е, потому и были все тайные и явные исписаны анаграммами «А.И.Е.», чтобы сэкономить на гравировке. Смысл платить больше, если одна буква у нас одинакова? Поэтому в Садах, считающих монетки на автобус до аэропорта, буква Е нас сближает и греет четырьмя конфорками газовой плиты. А теперь Е – моя, и только моя, и я не собираюсь ее ни с кем делить. Я отдала ему своего Моцарта. Попрощалась с черными волосами, дабы поразмытее казаться в толпе. Всё мое, что было, я оставила. Но букву Е я никогда никому не отдам. Вот она, красным золотом блестит у меня на шее, Yeah!

Зачиналось время-Эпсилон, но смотри, какой анаграммой я все же разбила части этой книги: Альфа! Йота! Эп-си-лонь!

Однажды Дантес протягивает мне зеленое яблоко, дескать, угостись. Я таскаю его в сумке три дня подряд, и в итоге отдаю обратно, по проторенной дорожке Моцарта. Я больше не люблю ни яблоки, ни Моцарта. Бог в деталях, смотри. Постоянно ношу Аяксовы очки и окулист на полугодовом медосмотре удивляется тому, как сильно у меня улучшилось зрение. Безо всякой черники, гимнастики сквозь мутные оконные стекла и отдыха от письма. Тексты, до чего их ныне много, потому и не снимаю Аяксовы очки с диоптриями. Счастливые очки, он написал в них «125 RUS», глядишь, и у меня что получится.

Муж говорит, что я «херачу как стахановец». Ну, это просто поднятие занавеса. На нем, краснобархатном, как в фильмах божественного Линча, на нем, краснобархатном, как камзол Вольфганга Амадея, вышить бы еще геральдическими символами знамя и оду букве Е. Тогда я, пожалуй, смогу перевести дыхание, выпить кофе и поспать немного, не сетуя на то, что во время сна не смогу свободно печатать.

И да, прежде всего хотелось бы поздравить всех обладателей светлых волос с тем, что им не придется покупать австрийский ботанический шампунь для темных локонов, он

такого каштанового цвета и гелеобразной консистенции, и австрийский, и что часто летом по пути заходили вдвоем в аптеку с Дантесом, где я покупала себе тот шампунь, смеялась, что он сделан из зрачков карих глаз Дантеса. Мне его не хотелось бы покупать снова, хотя он классный, и вкусно пахнет. Сейчас мне бы не хотелось его покупать в аптеке, его, австрийского из темных глаз Дантеса, поэтому мне куда ближе оказались аммиак с перекисью водорода. Самое оно для деревянного мозга, кишащего буквами и размышлениями об этих букв семантике. Златоволосая, кинувшая невиданную Вену и музыкальных апостолов гениальности, я забивала клеванием бумаги печатной машинкой, последние гвозди в крышку гроба (и в визуальном ряде крышка была обита красным бархатом Моцартовского концертного наряда). Вот об этом не писали ни Шекспир, ни Шуфутинский.

Я лежала ДСП-шным пластом в мягких постелях под балдахинами, пока близкие, сколько же горя лукового им выпало, складывали меня в конвертик пухового одеяльца, как новорожденную, я зубоскалила в ответ на их заботу и попытки утихомирить заблудшую душу, ночами я доставала двух своих самых любимых авторов с книжной полки, они были такими же сухими и бумажными, как и я, и с замиранием сердца, со своей хрустальной башенки на улице Ротшильда, следила за тем, что идентичное моему состоянию происходило *«на Национальном проспекте перед окнами кафе «Славия», причем как раз в ту минуту, когда молодой поэт, сидящий там за чашечкой кофе, бесповоротно решает не продолжать больше свою поэму о властелинах городов Внутренней Азии, потому что ему осточертело печатать на пишущей машинке, клавиши которой, вместо того, чтобы упорядоченно опускаться на бумагу, то и дело прогибаются в суставах, вытягиваются и хлещут его ядовитым шипом, что у них на конце, по лицу, и потому после сто двадцатого гекзаметра его голова, которой еще месяц назад восхищались женщины и которую они гладили, распухла и превратилась в шар, и под натянутой и истончавшей кожей переливается зеленый гной нарывов.»*³⁸

Это был единственный способ забыть для начала хотя бы о Клео (пусть мы с ней всегда и были одним человеком, внутри скорлупки одного черепа нам оказалось слишком тесно вдвоем) – начать кому-то завидовать и восхищаться кем-то больше, чем Клео. И я, жена автомобильного бога Запада и дочь автомобильного бога Востока, сестра Андрея, я, Кэтрин, сдалась, вывесила белый флаг поверх развернутых в жесте «такова се ля ви» наружу рук. Все вернулось на круги своя, весь восторг – к святому искусству, свят Михалек, свят Франтишек! Аз есмь каллиграф, а они, мудрые книги – моя стена и ров с кольями. А те, кто мудрые книги написал – святые, ангелы, архангелы, шестикрылые серафимы, ключики Петра, мои иконы. Я обложила иконами фолиантов, табачным ладаном окуривая величайший алтарь – печатную машинку. И молитвами утвержденной в веках прозы была я спасена пуленепробиваемым стеклом от всего внешнего мира. В начале было слово. И слово это было – филология.

³⁸ М.Айваз, «Другой город».

Глава 27.
Действительно большая небесная катастрофа

*«...Все ниже спуск винтообразный,
Все круче лопастей извив,
И вдруг... нелепый, безобразный
В однообразьи перерыв...*

*И зверь с умолкшими винтами
Повис пугающим углом...
Ищи отцветшими глазами
Опоры в воздухе... пустом!*

*Уж поздно: на траве равнины
Крыла измятая дуга...
В сплетеньи проволок машины
Рука - мертвее рычага...»*

(А.Блок, «Авиатор»)

В три часа ночи я просыпаюсь от истошного вопля телефона под подушкой. Б. стонет сквозь сон: «Кэти, сними трубку, ответь», я лепечу сдавленное «алло». На другом конце провода Дантес. Там что-то происходит, ветер свистит, гремит железо. У Монсьера срывается голос:

- Он разбился. Черт, самолет разбился. Господи! Что теперь делать, один из наших самолетов упал только что!.. Осколки собирают по лесу, Кристабель. Черт, Кристабель, черт, - Дантес заикается от волнения, пока я сажусь на кровати и включаю ночник, - Приезжай. Приезжай сюда, Кристабельхен.

Я перебиваю его:

- Говори адрес. Что произошло? Куда ехать?

- Черт, Клео, черт! – кричит Дантес, - что теперь делать? Это был рейс из Вены. Наш Серега погиб!..

Пробормотав: «Скоро буду», я отсоединяюсь. Б. уже проснулся и вопросительно смотрит на меня. Я беру стакан воды с тумбочки, встаю.

- Поехали, - говорю я мужу, - И. звонил. Наши разбились где-то на пути из Вены. Серега был на том рейсе.



КАПИТАЛЬНЫЙ РАЗЛОМ ФЮЗЕЛЯЖА

Творческий акт – суть неприятие подсознанием ситуации, с которой сознание было вынуждено смириться по ряду причин.

Сублимация, выражение, рефлексия, которая разрушает свой собственный объект – суть одинокий вопль подсознания, вызывающий к последней справедливости, достижение которой уже фактически невозможно.

Пожалуйста, позвольте возопить моему подсознанию.

В жизни случаются долгие зоны турбулентности, прерванные взлеты, заносы на рулежке, даже аварийные посадки, бывает, что выпадают кислородные маски, что требуется огнетушитель или аварийная медицинская аптечка. Редко, но метко бывает в жизни то, что я назову «капитальным разломом фюзеляжа». В таких случаях нельзя доверять рассказам очевидцев, оставшихся в живых, и единственным адекватным источником информации остаются беспристрастные оранжевые братья-близнецы, сухие механические скрипторы – два бортовых самописца.

Извлечем черный ящик из-под обломков упавшего воздушного судна авиакомпании «Schmerz und Angst».

Фюзеляж – скорлупа, черепная коробка, прячущая дражайшее сокровище, это ракушка, внутри коей живет нежный склизкий моллюск, выращивающий жемчужину из случайной песчинки – головной мозг, желеобразная субстанция, обволакивающая перламутром изящных словес волею судьбы закрашивуюся внутрь мысль. При капитальном разломе не кладут в госпиталь. При капитальном разломе, стоя по колено в росе, на коленях по земле

рыскаешь; тут ведутся спасательные работы, ищут пуговицы для опознания, паспорта, сгоревшие еще в самые первые секунды; ищут фрагменты тел; там же и я стою на коленях, слепая, на ощупь ищу дрожащий холодец своих мозгов, чтобы наспех покидать его в пробитую яичную скорлупу, зовущуюся головой, верхушкой человека; я сгружу его найденной массой извалявшегося в лесной траве пудинга, обмотаюсь скотчем, задерну голову оранжевым чехлом, - черный ящик найден. Бортовой самописец поврежден, но мы попытаемся расшифровать его записи.

Я упаду в любой автомобиль, и поеду домой, в любой свой дом на любом автомобиле, держа в руках трофейный диктофон, найденный на месте авиакатастрофы, поддерживая деревянными руками залатанный изолентой кокосовый орех своей головы, этого единственного бортового самописца, который поддастся расшифровке, чем я и займусь дома, только, умоляю, водитель, жми на газ, дай обезболивающего, от мигрени или схожего, а то вот-вот треснет, и никто уже не докопается до истины.

Дома мое лицо будет лежать на клавиатуре, а за окном сменятся восходы и закаты, погода и направление ветра, мой лоб продавит клавиши, стройные ряды букв, горло же вновь одолеет приступ кашля, и это кровохарканье тоже будет на бумаге, чернила печатают пальцами, печатают пальцы чернилами, но, когда я закашляюсь, то сплуну туда же, на лист, торчащий из машинки, и алое потечет красной строкой вниз, - то и будет беззвучный, немой и уже такой постфактовый, такой неактуальный вопль подсознания.

А теперь давайте петь по делу.

* * *

Эмоции одолеваемы. Рациональность – чудовищный враг, непобедимый.

Из всех бед, сотканных и порожденных чувствами, можно выбраться усилием воли, железной воли, триумфом воли вызволяя себя крюком руки за шиворот из уютного болота страданий. Эмоциональность дрессируема.

Но нет большего мучения, чем бороться с рационализмом (притом с собственным), прогибать его под рамки наглядной действительности, придумывать какие-то доводы, в которые никогда не поверишь, пытаться объяснить необъяснимое, осмыслить бессмысленное.

С сердцем можно договориться о чем угодно.

С разумом договариваться не стоит – ибо изначальное несогласие с разумом будет сигналом вашего психического здоровья и степени адекватности.

А менее всего стоит, зная и всем рассудком отдавая себе отчет в происходящем, - искусственно подстраивать разум принять ситуацию алогичную, гротескную в своей пустозвонности и масштабности; менее всего стоит рассудком оценивать чужие выхлесты сердца; менее всего стоит судить чужое эмоциональное своим рациональным – ибо это неизбежно приведет к капитальному разлому фюзеляжа.

Заметим, что он разломится именно у того участника противостояния, который будет «Рассудочным». «Сердечный» участник возгорится разлитым топливом, и остынет утренней росой следующего же дня, пока спасатели будут тщетно искать уцелевших в покореженной жестяной банке фюзеляжа, в металлических обломках одного чересчур механизированного самолета, в пробитом корпусе одной слишком привыкшей искать всему разумное объяснение головы.

* * *

На взлетно-посадочной полосе эти же елки, эти поля, над которыми вечная дымка уходит вечерами на запад. На запад, на запад туда она идет, туманная, вокруг Горы, закатывается за солнцем, я смотрю, и продолжаю смотреть, перещелкивая счетчиком на приеме груз-багажа.

Монсьер Бортпроводник, зачем ты продал мои фирмовые часики, подаренные мне Б., уличным торгашам? Я буду останавливать все циферблаты одним только злым взглядом, я буду везде и всюду искать свои часики Longines, доеду и до твоих железнодорожных депо на блестящем автомобиле, но ни на одном черном рынке не обнаружу их.

Ты будешь крутиться волчком на ветру, в вихре и метели друзей-коллег, провозок, допусков, шелеста страниц летных свидетельств, явок и опозданий, ты будешь бояться увольнения, считать дни до зарплаты, скучать по ребенку, скучать по родителям, скучать по мне, ты будешь ненавидеть, ждать, забывать, вспоминать, срывать, негодовать, веселиться – ты всегда будешь так искренне чувствовать. Ты воспламенишься потоками неизрасходованного керосина мигом, моментально, и на утро уйдешь под землю, впитаешься в благодатную почву, растворишься, оросишь новостные колонки пестрыми заголовками о Действительно большой небесной катастрофе.

А я буду с пробитым черепом покоиться на сожженной траве, килем подражая Шпилю готического собора, лбом на клавиатуре, буду ковыряться в вязкой жиже найденного бортового самописца, и молиться Богу о способности выразиться наиболее удачно, потом перечитывать и с испугом допускать мысль, что ты, возможно, и вовсе не въедешь в написанное. А я въехала, удачно так, с таким грохотом, а какова сила удара! Я буду там же, остаточной, слепешарой кабиной пилотов разбитого самолета смотреть в небо, ржаветь под дождями бесчувственной списанной жестянкой, там я и сгнию.

Я буду гнить, разлагаться, каков декаданс!, впоследствии уже рихтуя заполненные убористыми буквами странички, как-то раз не удержусь и вцеплюсь в тебя фотографическим неморгающим глазным яблоком, и скрещу пальцы за спиной: тот ли это Дантес, *мой* ли это Дантес?...

Ты обопрешься о буфетно-кухонную стойку в самолете, и скажешь мне величайшую фразу свою, фразу всех времен и народов, которую ставить бы эпитафиями, которую ставить бы в резюме и под портреты, которая характеризует тебя всего всецело. Ты скажешь (слово в слово):

- Я на таких каторгах вкалывал за бесплатно, что эта работа для меня – тьфу!

И на «тьфу!» притворно сплюнешь в сторону.

В новой эстафете куда-то за экватор, в острова, ты скажешь, что сделал Алоизе, своей жене, великолепный подарок – стащил из магазина бытовой техники дорожный пылесос. Такая техника призвана делать квартиру стерильной зоной – все на благо вашему маленькому ребенку. И это тоже будет мой товарищ старшина Монсьер Бортпроводник Дантес, продавец часов и мобильных телефонов, пассажир электрички, вор пылесосов.



"Я на таких каторгах вкалывал за бесплатно!"

Глава 28.
Еще немножко дров

«...Время наших первых надежд и разочарований, когда мы мечтали, когда могли обнять небо, которое потом рухнуло нам на голову.»

(Ф.Бегбедер, «Любовь живет три года»)

А еще есть железнодорожные колокольчики. Они звенят на переездах, пока красноглазые полосатые шлагбаумы-флегматики предотвращают столкновение. Я не имею права сломаться. Я должна работать. Когда Б. спрашивает меня, какой смысл резать по живому, под микроскопом искать сердцевину, какую угодно, не заслуживающую, гадкую, но искать. Когда Дантес, воспетый тысячью стихов, никогда не видящий сам себя таким, каким вижу его я, в неработающем лифте назовет меня самой жестокой в мире. Даже тогда у меня останется лишь право продолжать держать переезд. Они так красивы, бог мой, это выносит мне мозг, о черт! Мой муж будет любить зимнюю музыку, не осознавая, что она – зимняя, что она – суть северное сияние и полярные ночи. Дантес будет негодовать на банкомат и курить в тамбуре, пока я поэтизирую его нищету, дитя электричек, дитя Достоевщины!.. Какие они крутые, о черт. И как бы мне, ничтожеству этакому, всего-то поярче выразить их своим ограниченным словарем. Раздосадованная, не поспеваю сама за собой, когда мысль несется со скоростью звука, когда мысль несется с обрыва прямо в морскую пучину, я плетусь за ней клубами дорожной пыли – так медленно удастся подобрать слова, сделать их более-менее удобными для чтения, опять же, в меру своих способностей, а потом еще печатать.

Так моя мысль уже давно грохнулась в воду и разбилась вместе с автомобилем, а я до сих пор продолжаю печатать, до сих пор продолжаю держать переезд, в него я навек вкопана, закрытыми от дождя черными козырьками, глазами-фонариками, близорукими, подмигивая, смотреть на них, каждый из которых идет своей дорогой, и этот лаковый седан, и тот пригородный электропоезд, я же просто смотрю, пока идет мой любимый саундтрек этой нудной мелодрамы, пока звенят железнодорожные колокольчики. И этот лаковый седан, и тот пригородный поезд – каждый из них идет своей дорогой, по своей разметке, по своим стрелкам, и вдруг под занавес мне кто-то вдруг посоветует тоже идти своей дорогой. Я пожму плечами – это придает загадочности. Я отвечу цитатой, это получается лучше всего, мне всегда удавалось хорошо цитировать. Я скажу, что Гора не позволяет мне идти своим путем. Я обязательно спущусь вниз, как только Гора позволит мне идти своей дорогой. Когда Гора отпустит меня.

Клео в Бордо, плюс пятнадцать по Цельсию, пишу я Дантесу, когда у нас тут мучительный холод тянет стрелку ниже нуля к отметке в минус двадцать. Моя форма крутится в стиральной машинке, стиральная машина и уют, верные лакеи моей робы бортпроводника. Клео глянцевая, даже когда не спит в долгих ночных рейсах, ей всегда есть чем замазать синяки под глазами.

Хозяйка дома в Черных Садах, фрау Нахтигаль, звонит мне и будит меня, она просит подыскать новых съемщиков жилья, так как мы съехали раньше срока, обозначенного в договоре, дом в Черных Садах тоже неуклонно становится прошлой жизнью, я же пишу в режиме реального времени, и черт, это выносит мне мозг, о да.

Когда закончу рукопись, оболью голову чернилами и снова стану черноволосой. Это заставляет меня продолжать, я возвожу идею сублимации в культ. Моя бедная

Кристабель, о, как у нее болели ножки в начале этой каторжной работы, она ругалась на то, что никому в мире не нужно настоящее искусство, а настоящее искусство всегда внесомненно соответствовало ее художественным предпочтениям и подвергалось строгой цензуре, продиктованной, опять же, субъективными суждениями. Когда закончу рукопись, уеду на край света и буду жить в хижине на берегу озера. Когда закончу рукопись, вылью на голову чернила и солярку – то будет ритуал поклонения книжной сестре Аякса, прорисованной ранее до крайностей, до карикатурности, гиперболизировано нервнобольной анорексичкой, мне бы хотелось закопать ее снова в парке Уссурийска, лишь бы поддержать мертвую кукольную руку еще хоть на миг. О, Аякс, тебя не было рядом, пока я ляпалась по всю эту дрянь здесь, по другую сторону существования, тебе хорошо, Der Mertwez, брат Андрейка, ты даже мысленно не прикидывал на собственные плечи те свинцовые горы и каменные шпильки соборов, что я держу на своих куда более расшатанных плечах ежемгновенно.

Я перечитываю все отправленные когда-либо письма, еще раз их перечитывает Б., я спрашиваю, есть ли в посланиях Дантеса какая-либо текстологическая ценность? Когда я называю нашего общего знакомого ходульным карликом с поросшей мхом спиной, И. пишет мне в ответ многое, и смешное, и хором отображающее, но не несущее никакой текстологической ценности. Б., анализируя всю переписку, итожит, что я пишу забавно, впрочем, как всегда, а Дантес «подхихикивает в ответ». В словах Дантеса нет образности. Я спрашиваю его напрямую, куда подевалась метафоричность *и его* мышления? Почему читать его стало так скучно? Или образности никогда и не было? Как резко меняется угол видения или точка зрения, стоит перестать примерять ее на себя и льститься.

Мой издатель и душеприказчик Макс Брод наотрез отказывается печатать свеженаписанное, пока я не изменю все имена. Он отказывается печатать свеженаписанное, называя это «романтической слизью с маринованных грибов».

- Соберись, К., - говорит мне Макс в Большом Городе, - ну соберись же, сколько можно печалиться? Как там тебя зовет муж? Кэти? Так вот, соберись, Кэтрин. Возьми себя в руки, Кэтринхен!

- Не смей произносить этот суффикс никогда в жизни при мне! – вскакиваю я из-за стола в кафе. - Никаких уменшительно-ласкательных суффиксов! Никогда не смей называть меня Кэтринхен, Кристабельхен, никогда, я ненавижу это слюняйство!

- Наконец-то! – радуется Макс, - а теперь запомни, К., что твоя книга в таком виде – такое же слюняйство, как и «Кристабельхен».

Я лежу на ковре, в магическом круге блокнота, печатной машинки, телефона, плеера, зеркала, ID-карты, пропускающей во все аэропорты мира, ключей от пикапа Toyota Hilux, и ключев моих выданных расческой и пианинными пальцами белокурых прядей. Я лучше вижу, все врачи это говорят. И кардиограмма лучше стала. Так было после ЭКГ, я дошла до лечебницы в студеный мороз, доехала, они облепили меня резиновыми присосками, датчиками и проводами, снег мягко падал за окном кабинета кардиолога. Следующим утром, когда Клео летит в Бордо, на одном из переездов, экспрессом проносясь мимо трезвонящей будки подле шлагбаума, пишу Дантесу текстологически ценную смс «Heartbeat Frost»³⁹, подразумевая морозный полдень на процедуре ЭКГ. А он не видит. Он спрашивает, сдала ли я кровь, он сдал, успеет ли он вовремя пройти

³⁹ Англ. «Мороз сердцебиения»

медосмотр, он не поэтизирует даже этот чертов медосмотр, никакого Heartbeat Frost, никакого сходного видения, интеллектуального единства.

Клео бы двести раз и навсегда отключила телефон или выкинула бы его из окна своего хрустального замка, да не может, вдруг позвонит диспетчер, вдруг телефонная трель оповестит ее о будущих зарубежных командировках в Лондон, во Франкфурт, в Нью-Йорк, на Бали, на Мальдивы, в Гонконг, куда угодно могут поставить, но только не в Вену, туда в отделе планирования ее никогда по дьявола злобному умыслу не ставили ни разу. Я лежу на ковре, и читаю «Смерть Автора» Ролана Барта. Все сравнивается с землей, ровнее и ровнее, никакой пощады, ни-ни, никакой пощады, никакой художественной и стилистической ценности, их никогда и не было, земля всегда была кругла, но, непреклонно плоская, она разровняла весь рельеф, шпили и горы, все неровности, я же пытаюсь хоть что-то реанимировать. Диспетчеры звонят Клео, Б. звонит Клео, Дантес звонит Клео, я лежу здесь, и все время кто-то мне трезвонит. Это в дверь кто-то звонит, это мой дверной звонок переливается железнодорожными колокольчиками.

* * *

Хлопнула входная дверь на первом этаже. Дворецкий открыл. Пришли ко мне. Конечно же, то была она. Я ждала ее еще с начала повествования. Мы с ней должны были встретиться рано или поздно. Она пришла взять реванш, неужели она все-таки сможет меня убить? Моя гостя убьет меня сегодня, о да, посмотрите, она отомстит. С первых глав этого ждала. И я упаду, о да, я снова упаду, подкошенная, на пол, как когда-то давным-давно, вчера или позавчера, я упаду от ее удара, и оболью голову чернилами. Она говорит про ее сына. Только ради детей и стоит восстанавливать справедливость с помощью насилия. Мы ни разу не виделись в реальной жизни, мы должны были встретиться лицом к лицу.

- Они убили моего сына, моего Сереженьку, - говорит мне Мира, сжимая в правой руке пистолет, - теперь мне ничего не остается, кроме как убить их.

Я рада застать ее в таком воинственном настроении, поэтому тоже сразу перехожу к главному:

- Убей заодно и меня. Мне некуда себя девать последнее время. Сделай как тогда, с отцом. Пусть я умру, зато мой брат Аякс меня закопает.

Эту фирменную улыбку Миры в стиле «успокойся, крошка» я помню с самого синкретического младенчества.

- К., перестань. Я здесь по другим делам. Мне нужно найти Хельгу Шмерц и Герберта Ангст. Это для начала. А еще – дай мне ключи от машины и ключи от ваших Черных Садов.

Я совершенно сбита с толку:

- Но там ведь больше никто не живет!

Мира продолжает смотреть на меня, как на умственно отсталую, и улыбаться:

- Я знаю.

Глава 29.
Конец авиакомпания «Schmerz und Angst»

*«Now I'm not looking for absolution,
Forgiveness for the things I do.
But before you come to any conclusions –
Try walking in my shoes...»⁴⁰*

(гр. «Depeche Mode»)

Мира застрелила Хельгу Шмерц и Герберта Ангста, и их тела нашли в элитном особняке, стоящем у подножия Горы, неподалеку от аэропорта. Результаты вскрытия показали, что смерть наступила в результате обширного инфаркта у обеих жертв.

В конце концов, даже у меня должны быть свои покровители.

Если бы хоть кто-то попробовал побыть в моей шкуре!..



⁴⁰ Англ. «Теперь я не ожидаю всепрощения
За то, что я совершил.
Но прежде чем вы придете к какому-либо выводу,
Представьте себя на моем месте (букв. «Пройдитесь в моих башмаках»).»

Я забыла узнать его имя, врача авиакомпании «Schmerz und Angst».

Хотя обещала, что напишу о нем в газету «X-Avia».

То было уже на самом закате. Как-то раз, очередной, миллионный по счету раз, мы зависли с Дантесом в какой-то командировке, сидели на скамейке под пальмами, песок на береговой линии скрипел под ногами. Тогда И., задумчиво глядя на море (он впервые увидел море при мне, разумеется. Я же так и не увидела Аякса в море, о черт), сказал, что в детстве ездил с родителями в пустыню Каракумы. И перевел. «Кара – черный, кум – песок», - поведал мне Дантес. А я думала, Боженька, домой, скорее домой, поскорее бы домой. Не на улицы имени Ротшильда, как всем было выгодно фантазировать, обеляясь, а именно домой. Оттуда, кажется, это было на Бали, я срочно телеграфировала Алоизе, чтобы та держала своего мужа подальше от меня. И больше мы с Дантесом никогда не встречались.

То было уже на самом закате. Относя очередной больничный лист, выписав новые очки, в которых снова было видно все предельно четко – старые не справлялись с этой задачей, нужны были линзы помощнее, опустив забрало новых усиленных диоптрий, стекло потолще, я вошла в службу бортпроводников. Поднялась на лифте на шестой этаж, зашла к врачу, дабы вручить больничный и получить допуск на полеты.

Врач попросил меня поставить роспись в какой-то их таблице. Он произнес: «А здесь будьте добры, поставьте свою...», и я закончила предложение за него: «Сигнатуру!»

Его это удивило и позабавило. Он сказал, что по-французски слово звучит как «сигнатюр», а я воззвала к латинским истокам и уперлась в то, что все медики когда-то изучали латынь. Таким разговором мы и докатились до моего тайного писательского труда, и врач попросил меня упомянуть в «X-Avia» авиационную медицинскую службу. Я пообещала ему написать об этом, но забыла узнать его имя. Но то было уже на закате.

Обман лопнул мыльным пузырем в кабинете предполетного медицинского осмотра. Раз уж теперь я заменяла Клео (ибо, как выяснилось, всегда ею и была), то мне необходимо было побольше разузнать деталей из жизни inferнальной стюардессы. Теперь я то и дело оглядывалась во все зеркала, на свои золотые пуговицы синего пальто, солнечными бликами отражавшиеся в стеклах лифта; теперь я то и дело оглядывалась на незнакомых людей в форме, улыбающихся мне в коридорах, холлах и брифинговых: «Привет, Клео». И все это время я думала, скорее бы вернуться домой, только бы не закашлять при них здесь, только не при враче.

Клео в островах. Пхукет в Индийском океане, Андаманское море. Один коллега, высоченный и худой, как телеграфный столб, даже выше и худее Дантеса, рассказывает про город Анадырь (табличка: «Прежде, чем покинуть столовую, убедитесь в отсутствии белого медведя!»). Там же, в островах, в пятизвездочных отелях под пятью звездами Южного Креста, я прочитаю вслух на немецком языке предупреждение не заплывать слишком далеко, и этот телеграфный столб, скажет, что я изменила его представление о немецком, и попросит почитать ему вслух на немецком еще, еще чуть-чуть, хоть один абзац, последний абзац, пожалуйста, Клео, почитай мне еще на немецком! Там же, в островах, небывалой силы привычкой из меня вырвется: «Монсьер Бортпроводник!», и мой новый коллега так наивно вырулит диалог: «Давай просто «сэр Бортпроводник», м?» И никто слыхом ни слыхивал ни о каких амурных перипетиях. Действительно, что это за Монсьер Бортпроводник такой?

Монсьера уже и в самом деле нигде не видно. За пару дней до финала я, детектив-инкогнито, очнувшийся от амнезии, копаюсь во врачебных таблицах, пытаюсь отыскать свое полное имя. Она ведь говорила, что училась в Праге, верно? Я ищу, бегаю по списку вверх-вниз, и, наконец, нахожу. Шестсот сорок пятым номером в таблице бортпроводников шестсот шестьдесят шестого отделения авиакомпании «Schmerz und Angst» я нахожу саму себя. Там так и написано: «Kleo Nuselská, stevardka»⁴¹.

Так вот какая у меня, оказывается, фамилия! Повинуясь неугомонному любопытству, я пытаюсь найти в этом же списке Монсьера И., но его нет. Е.И. здесь попросту не существует. Тогда я смотрю в графу, где все оставляют «сигнатуры», и старательно высматриваю знакомую роспись. О чудо! – и ее тоже нахожу. В круге росчеркнутая «И...» стоит напротив следующих данных: «Dantes Nuselský, stevard»⁴².

* * *

Брат и сестра? Муж и жена? Кем мы, получается, приходимся друг другу? Почему у нас одинаковые фамилии? Почему документы написаны на чешском, хотя мы живем в Большом Городе Моцарта, в городе, где заглавная буква «З» означает соль - при чем здесь эти пражские стеварды и стевардки?

И тут случается страшное. Но предсказуемое. Вскипевшая в горле кровь рвется вон, наружу, и с углов губ стекает прямо на списки фамилий. Стыд и смерть. Правой ладонью закрывая рот, левой я рыщу по непривычно высоким карманам форменного пиджака, в надежде достать носовой платок. И долго-долго кашляю. Со всеми сопутствующими декорациями: захлебываясь, трясясь, согнувшись напополам, я кашляю, и не могу остановиться.

Врач вопросительно смотрит на меня:

- И что прикажете с вами после этого делать?

- Я не знаю, - наконец, мне удастся отдышаться, - вернее, я знаю, что мне нельзя летать.

Но я это от всех скрывала...

- Туберкулез?!

- Называйте это чахоткой, пожалуйста! – я пытаюсь улыбнуться. - Так романтичнее звучит.

- У вас туберкулез, Клео! - негодует врач. - Какие вообще полеты? Вам необходимо срочное лечение!

- Да... - смотрю я в пол. - Я обещаю, что займусь этим. Непременно...

Я выхожу из кабинета предполетного медосмотра, и никуда больше не лечу.

А совсем скоро уже никто никуда не летит, так как приехавшая ко мне Мира убивает Хельгу Шмерц и Герберта Ангста, и концентрационной каменоломне приходит долгожданный конец.

⁴¹ Чешск. «Клео Нусельска, стюардесса».

⁴² Чешск. «Дантес Нусельский, стюард».

Приложение 3.
ПИСЬМА ДАНТЕСА К КРИСТАБЕЛЬ, ОТПРАВЛЕННЫЕ ПОСТФАКТУМ.

15 ноября, 18:15

Ты меня как на веревке водишь, а я справиться с собой не могу. Домой надо было утром валить. Только хреново всем сделали. Дома тоже хреново.

17 ноября, 17:16

Так чай тоже заколдованный. Ты, если заколдовываешь, то все вокруг и сразу.

26 ноября, 15:13

Вот и не ломайся. Держи других, раз ты такая добрая и мирная, как говоришь. О какой власти над тобой? Ее никогда и не было. Не выдумывай.

27 ноября, 15:16

Ты никогда и не поймешь, что я тебя всегда хочу.

3 декабря, 13:38

Ну и фантазия у тебя. Я как проснулся – офигел, читая. У меня на телефоне денег не было просто. А ты напридумывала.

14 декабря, 12:42

Ты где потерялась?

14 декабря, 15:18

Ясно. Ты когда вернешься? Я из Алматы 16-го вернусь. Пересечемся.

21 декабря, 22:51

Да, только не надо тебя распинать – поживи еще.

22 декабря, 18:13

Да, черт, денег на счету нет! Последние на это сообщение трачу. Не заводись.

25 декабря, 0:06

И тебя с рождеством! Ты правда у Кафедрального Собора?

27 декабря, 19:18

Вена – это хорошо. Ты есть в наряде на Бали с 29-го по 2-е. Полетишь?

27 декабря, 20:45

Да, в отеле вторые сутки сижу. Ладно хоть кормят, но постель не меняют.

27 декабря, 23:08

Номер 645, милости прошу. А в три куда поедешь?

4 января, 14:13

Привет. Как глазки? Надеюсь, не ослепла! Так уверенно шла. Хочется тебе в них посмотреть. Кстати, спасибо, что Алоизе написала – удачно получилось.

Глава 30. Überall⁴³

«Истинное Я можно узнать только по его действию. Оно не имеет протяженности, и именно поэтому оно – везде. Поймите меня правильно: überall. Оно надо всем – и в то же время везде.»

(Г.Майринк, «Вальпургиева ночь»)

Зимой мы все католики. В подарочном стеклянном рождественском шаре, который, стоит хорошенько его встряхнуть в ладонях, обрушит блески, имитацию снегопада, на наши острошпильчатые башенки, где мы обитаем. Мы слушаем органную музыку, обитые червонным бархатом и подернутые морозным румянцем щеки. Алеет гроздьями рябина во дворе.

Мира едет и едет на моем пикапе в Черные Сады. Выезжает из Большого Города, туда, на просторы, подернутые уходящей на запад дымкой остывшие поля, высокие столбы с электропроводами, стройные двойники Шпиля и Горы, стройные швейцары вдоль шоссе, по которому Мира едет в Черные Сады. Я не могу понять, что ей там нужно, ведь дом давно сдан обратно фрау Нахтигаль, там никто больше не живет, что Мира там хочет найти? Кроме моих стоптанных осенних башмаков разве что. Мира берет мои ключи от Садов и ключи от пикапа. Она даже отказывается от того, чтобы я, как в старые добрые времена, подвезла ее до пункта назначения. Миру больше не узнать. Серега погиб, ее единственный отпрыск, работавший в первой книге барменом во Владивостокской гостинице с видом на Амурский залив. Хельгу Шмерц и Герберта Ангст вчера прикончил неизвестный киллер, которому удалось скрыться с места преступления, ха-ха. Вы никогда не видели, как Мира маскируется. Об этом уже много страниц переписано было. В белом платье в цветочек, с медными кудрями, низкого роста и крепко сложенная, она в последнюю очередь походит на убийцу. Убийца, беспощадный и хладнокровный – в менталитете Миры эти качества успешно трансформируются в опеку над близкими и идею восстановления мировой справедливости. И об этом тоже уже было говорено в «125 RUS» (Андрей всюду меня обскакал).

Мира оставляет меня в холле в одиночестве лежать на полу и сочинять вторую рукопись, которая не хуже первой разлезается по частям и прячется по темным углам нашего с Б. огромного дома, а сама Мира непонятно с какой целью уезжает на моей машине в бывшее обиталище. Она заряжает свой пистолет и кладет его на приборную доску – неслыханное позерство! Под пассажирское сиденье она сгружает огнестрелку куда более серьезных габаритов, а о том, что за оружие она складывает в кузов, лучше вообще молчать. Автоматы, гранаты, оптические прицелы, кокетливые револьверы, глушители, парочка РПГ для веса – такой набор едет сейчас вместе с Мирой в Черные Сады, а я остаюсь дома одна, она даже не поцелует меня на прощание, муж на работе, а я буду лежать тут одна, последним жалобным взглядом пытаюсь выяснить, для чего же моей ангелице-хранительнице нужно ехать к Горе. Мира отвечает, что мне чудовищно не идет блонд.

- Кошмар.

⁴³ Нем. Überall – «везде», «повсюду»; Über all – букв. «надо всем».

- Что кошмар?

- Прическа твоя – кошмар, вот что.

И это после того, что Мира всегда утверждала, как сильно она меня любит. «К., ну только не блондинкой. Давай уже дописывай свою летопись и перекрашивайся в черный. Тебе он лучше всего». Я говорю, что я – Клео, богемная стюардесса. На что Мира ухмыляется: «А где теперь стюардессе Клео летать? «Schmerz und Angst» больше не существует, так что Клео тоже не в моде теперь».

Я включаю радио. Моего солнечного детства песня «Пистолет» группы «Мультфильмы». Надо навести порядок, такой порядок, к которому нельзя привлекать прислугу и вообще посторонних людей. Погребальный ритуал.

Я сдираю с лацканов авиационные значки-птички, стюардессы Клео – и той не стало!, мои туфли для полетов, обычные туфли, в которых поначалу так невыносимо болели ноги, бэйджики с моим именем «Клео», теперь и с этим надо прощаться – да почему со всем так быстро приходится прощаться?, мой платочек с самолетиками, кошелек с самолетиками, шпильки и заколки, термос, портсигар, планшет для чтения электронных книг (Клео приходилось экономить место в чемодане и не возить с собой горы макулатуры), сигнальный жилет кислотного цвета, счетчик для стояния под бортом при приеме груза багажа, косметичка, аптечка, капли для глаз, постоянно болевших, но так щедро густоресниченных, стрелками Клеопатры подведенных глаз. Марлечка, через которую гладились брюки, и эти свежеснежные авиационные блузки, дамские псевдогалстуки, и пиджак, мой пиджак, миллион раз перекинутый через рукоятку открытия двери воздушного судна, пиджак, на который миллиард раз прикладывались спасательные жилеты и кислородные маски во время демонстрации аварийно-спасательных средств на борту, на рулежке я показывала это, и то, и третье, и аварийные выходы на крыло – и в носовой части судна (вытянуть руки вперед), ряды пассажиров смотрели только на меня, о, я была настоящей рок-звездой, демонстрируя аварийно-спасательные средства на рулежке!

Марлю, через которую гладились стрелки на брюках, я разрисовываю карандашом, которым красились стрелки на глазах, прыскаю ее Christian Dior ADDICT, запах, от которого сходили с ума все летчики, хороший факел получается, практически олимпийский. В жестяной посудине свалена моя стюардессная форма, незамысловатая роба бортпроводника некогда великой авиакомпании «Schmerz und Angst», к этому прибавляются дружной компанией все перечисленные ранее предметы, и я поджигаю, поджигаю новой бензиновой зажигалкой с надписью «Made in Austria» на дне.

Огонь вздымается вверх, не бойтесь, я не сплю дом, нас хорошо обучили тому, как пользоваться огнетушителями: водными, химическими, сифонного и пистолетного типа... Оно все горит, мне бы расхохотаться, как Кин в романе Элиаса Канетти «Ослепление», на пепелище своей огромной библиотеки, мне бы расхохотаться, тут так тепло, что это скоро спалит мою без того сваренную и обожженную белых волос на шелушащемся черепе мочалку, я беру расческу, маленькую, очень удобно брать в рейсы, она вся в клоках этих жуткой желтой пакли, которая сыпется с моей головы, с моей блондинистой головы, и расческа тоже летит в самопальный домашний костер: вы чувствовали этот запах горячей синтетики, пластика и обесцвеченных паленых волос? Тогда-то я и начинаю смеяться. Шаманским танцем прыгаю вокруг дымящегося ведьминского котла – глянцевою стюардессу Клео сожгла святая инквизиция католической зимы.



Мира паркуется возле подножья Горы. Она берет пистолет и ключи от нашего дома в Черных Садах. Мира ступает тихо, ее шаги никто не слышит, особенно таким тихим вечером. Мира открывает дверь дома фрау Нахтигаль.

- Надо бы купить банку для кофе, а то открывать и закрывать постоянно неудобно, - говорит Дантес. На столе, поставленном наподобие доски, на вафельной голубой скатерти, он гладит походным утюгом летнюю форму Кристабель; они собираются в рейс.

Детки почувствовали порыв ветра и захлопнувшуюся дверь; Кристабель выбегает в коридор, и тут же останавливается на месте:

- Мира? Мира? М-м-мира? Как ты? Как ты здесь оказалась? Кто тебе дал адрес? – и, спустя паузу, немного подумав, еще более ошарашено. - Мира, откуда у тебя ключи от этого дома?..

В коридор выходит Дантес, он встает рядом с Кристабель и спрашивает у нее: кто это?

- Мира... - еле слышно отвечает Кристабель.

- Ах, Мира, - Дантес оживляется. - Так вот она какая, убийца из книг! Это что, настоящая Мира? Ты же говорила, что ее не существует в реальности, что ты ее выдумала...

- Выдумала... - вторит эхом Кристабель.

Мира вытягивает правую руку вперед и возводит курок. Кристабель кидается к ней, падает на колени, цепляется за подол платья в цветочек:

- Нет! Нет, Мира, нет! Не трогай его! Он хороший, клянусь, он хороший! И меня не трогай, умоляю, мы никому плохого ничего не делали! Мы только недавно сюда переехали!!! Никого не обижали, да, черт, мы никого и не видим, ходим только на работу и здесь, дома сидим... Мира, ну не молчи же ты! Откуда ты узнала, где я живу? Откуда у тебя ключи? Пожалуйста, Мира, родная, не убивай нас, мы только недавно стали здесь жить! Только стали летать! Вот и сегодня собираемся, да, у нас вылет в одиннадцать вечера, пожалуйста, оставь нас в покое, нам здесь тихо и спокойно, мы только обжили эти комнаты... вот, видишь, будильник купили!.. Не убивай нас!!!

Дантес выходит вперед, тянет Кристабель подняться вверх, загораживает ее собой:

- Послушайте. Пристрелите меня, а? Она здесь не при чем, не надо ее трогать. Кристабель ни в чем не виновата, это мне надо было голову включить вовремя. Мира, не убивайте ее, если вам так необходимо кого-то убить. Но она правда не при чем. Не надо нам умирать в один день, солнышко, поднимись с пола, ну же, хватит, хватит... Давай, Мирхен, но только меня, идет?

Мира продолжает молча стоять, следя рукой за перемещениями и одного, и другой.

- Нет, Мира, нет, - ревет Кристабель, - не трогай его, да что ж мы такого сделали, Мира? Мира, не надо, нет, не надо, не надо!...

Дантес демонстративно развязывает узел галстука (буквы «S&A» сбоку), расстегивает верхнюю пуговицу, вышагивает еще ближе к дулу пистолета и бросает последний вызов:

- Что, слабо, да? – кричит он Мире. – Меня одного слабо? Не трогай ее, поняла меня? Ты поняла меня? – и, понизив голос, он поворачивается к Кристабель, - не плачь, солнышко. Пускай она хлопнет меня, может, кому от этого лучше станет. Ты только не плачь. Я всегда буду любить тебя, - он кладет ладонь на ее голову, - и эти шикарные черные волосы, худышечка моя.

Кристабель зарывается в плечо Дантеса. Мира молча держит обоих деток под прицелом.

Спустя пару секунд все деревья в лесах под Горой, кажется, задрожали от этих многократных оглушительных выстрелов. Мира, как всегда, разрядила обойму полностью.

* * *

Выкинув истлевшие и вонючие «продукты горения» в мусорку, я ковыряюсь с текстом. Группа «Мультфильмы» продолжает петь про пистолет. Мне все время звонит диспетчер, интересно, что же мне хотят сообщить? Неужто то, что двух небожителей-хозяев моего места работы нашли убитыми и отныне до веку все рейсы отменяются? Ну, это я знаю раньше всех вообще-то. На автоответчике диспетчер оставляет сообщение, в котором просит Клео перезвонить, так как случилось что-то страшное. Глупенькие, я-то еще вчера это услышала от... хм... первоисточников. Только не называйте меня больше Клео. Вот уж что бесит так бесит, черт. Пока звоню диспетчеру, по второй линии мне зачем-то звонит Мира, должно быть, она уже возвращается сюда из Черных Садов, но я не успеваю ей ответить, вдруг все разговоры обрываются, дурацкая связь. Сейчас, уже совсем скоро придет Мира, я хоть спрошу, что там стало с домом. А пока надо закончить страницу. Он, этот их вокалист поет и поет свой бесконечный рефрен:

«Пистолет

За пазухой; загадки

Разгаданы; отгадки

Запалены. А ты –

Слишком плохо ты прячешь следы.

Посмотри

Внимательно на

Наши фотографии –

Печальные истории

О съемных квартирах

Без горячей воды.»

Глава 31.
Аэропорт («Nirgeind ein Ort»⁴⁴)

*«О, этот бред сердечный и вечера,
И вечер бесконечный, что был вчера.*

*И гул езды далекой, как дальний плеск,
И свечи одинокой печальный блеск.*

*И собственного тела мне чуждый вид,
И горечь без предела былых обид.*

*И страсти отблеск знойный из прежних лет,
И маятник спокойный, твердящий: нет.*

*И шепот укоризны кому-то вслед,
И сновиденье жизни, и жизни бред.»*

(Н.Минский)

Мира приезжает тем же вечером, когда мы с Б. ужинаем и размышляем, какое бы кино нам сегодня посмотреть. Сходимся на «Амадее» Милоша Формана. А потом вдруг не сходимся. Я бешу его своими занудными, долгими, мудреными авторскими фильмами. Б. хочет услышать благодарности за то, что он соизволил вновь принять меня в своем доме после всего, что произошло. Я жду спасибо за то, что соизволила остаться с ним. Откинув в сторону вилки и ножи, домашнее холодное оружие, мы орем какой-то ужас друг другу в лицо, исходим маразмом, наконец, решаем развестись теперь уже навсегда. Он начинает жаловаться, что все делает для меня, а плохая Кэтрин не ценит. Разве что не читает мои тексты, но это не так страшно, ведь меня тоже не впечатляет его музыка. Вопрос: «Какой от тебя толк?» перебрасывается теннисным мячиком с одной половины стола на другую, ответить же никто ничего вразумительного не может.

Мира приезжает. «Ну что Черные Сады?» - спрашиваю я ее. «Ничего», - отвечает она и уходит в комнату для гостей спать. Вот и весь разговор. Ночью в ванной пересчитываю ее патроны и ломаю себе голову, пытаюсь угадать, кого же она грохнула в Садах. Фрау Нахтигаль? Ее-то за что? Каких-нибудь забредших в поселок егерей? Тоже бред. Там людей-то проживает всего ничего, две с половиной калеки, зачем ей потребовалось туда ехать? Ключи она, кстати, мне не отдала обратно. Да и вообще со мной не стала разговаривать, даже ужинать с нами не стала. Сразу завалилась спать, будто весь вечер на не машине каталась, а вагоны разгружала, бедняга. А мне теперь сиди и гадай. Стоп, может быть, это как-то связано с убийством Герберта и Хельги? Я слышала, что их особняк стоит где-то неподалеку от аэропорта, но всегда думала, что они живут ближе к нашей с Б. даче, нежели чем к Черным Садам... Хотя владельцам авиакомпании, бывшим бортпроводникам, между прочим, куда удобнее поселиться именно с той стороны Горы, где Сады... Возможно, здесь ключ к разгадке? Наверное, Мира оставила что-то важное в

⁴⁴ Нем. «Нигде нет места»

их дворце и сегодня ездила туда забрать эту вещь и заодно оценить обстановку... Хотя это какое-то слабое объяснение. Мира никогда ничего не упускает из виду, творить подобные глупости просто не в ее стиле.

Я спрашиваю Миру, куда мне пойти теперь летать, и стоит мне продолжать летать вообще. Она цитирует Матисса: «Прежде чем начать учиться танцевать на канате, нужно научиться уверенно ходить». Я обвиняю ее в том, что она сомневается в моем профессионализме. На что Мира с неизменной улыбкой отвечает: «К., из всех моих детей ты всегда была и остаешься любимейшим ребенком... Но авиация и ты... Подумай хорошо еще раз над этим.»

На следующее утро Б. уходит на работу, а мы с Мирой сидим на кухне и пьем кофе. Она не упускает ни одной возможности подколоть меня по поводу златокудрой Гретхен и всех пришедших на ум и в фантазию выдающихся блондинок, в том числе и несчастной покойницы, художницы Мартариозы фон Лау из Швабии. В итоге я не выдерживаю, бегу в свой писательский кабинет, притаскиваю оттуда аккуратную баночку чернил Parker для перьевой ручки, и, под злорадное Мирино хихиканье, одним движением руки опрокидываю всю банку себе на макушку.

«Еще есть кофе, не забудь!» - протягивает она мне чашку с эспрессо, намекая на оттенок напитка. Облиться кофе я, увы, отказываюсь, сославшись на то, что для нежной кожи головы он будет чересчур горячим. До соевого соуса у нас тоже, к счастью, не доходит, хотя это было бы вполне символично, учитывая, что Мира – до сих пор подданная Японии, а я к Дальнему Востоку тоже имею самое непосредственное отношение. Мы вспоминаем наше море, ох, вот единственный человек в этом Большом Городе, с которым я могу предаваться воспоминаниям о нашем море, об островах, о водорослях в салате, о Ниигате и о перегоне праворульных машин. Мы расслабляемся. Смотрим «Падших ангелов» Вонга Кар-Вая, я шучу, что наемный убийца – это Мира, его нервная курящая помощница – я, а влюбленный немой юноша – наш Аякс.

- Ты скучаешь? – вдруг спрашивает меня Мира.

- Скучаю, - прикулив и подумав, отвечаю я. - Скучаю каждый день, чем бы ни занимала мозг. Вот, думаю, в хорошей ситуации ли в плохой, кто мне скажет, что будет дальше, как мне поступить, как себя вести и правильно ли то, что я делаю? Будто с завязанными глазами ступаю на ощупь по деревянному Колесу Фортуны, оно вдоль по берегу моря, и вдобавок постоянно увязает в песке; я все время, ежевдохно-выдохно пытаюсь всего лишь сохранять равновесие, а колесо крутится, ось, центральная точка – неподвижна, но нас-то забрасывает на самый край. И нет никого, кто мог бы мне подсказать направление. Никого нет, Мира. Не с кем разделить свинец на плечах. Не с кем обсудить полубогов – упрямых любителей боевиков и триллеров, или полубогов – пластилиновых, впитывающих, как губка, таких податливых и послушных любому шлагбауму железнодорожных колокольчиков. Не с кем обсудить моего отца, грустного пианиста, увлекающегося эпохой Наполеона; не с кем обсудить мою мать, привезшую мне из самой Венеции любимый шоколад; не с кем обсудить мою тетю, специалиста по английской филологии; не с кем обсудить моего дедушку, командира воздушного судна с многотысячным налетом часов... С кем мне говорить о своей семье, Мира? С кем мне еще говорить о тебе, о том, какая ты внешне копия Тори Эймос, а на пианино играть не умеешь, но как ты метко стреляешь, и сколько лет ты уже живешь на этом свете, я хочу рассказать им всем про тебя, как ты выбиваешь дверь ногой, какие вкусные ты печешь пирожки, и в какое кровавое месиво ты превращаешь всяких придурков. Конечно же, я скучаю. У меня нет того, с кем можно

говорить. Всю жизнь ищу того, с кем смогу говорить, и – пусто. Конечно же, мне попадаются полубоги, то и дело, они остаются со мной на два месяца или же на десятилетия, они пугаются, когда я час хожу взад-вперед по кухне, подыскивая нужную фразу для третьего абзаца, или же они покупают мне пиво еще до того, как я заправлю печатную машинку бумагой; они зевают, когда я декламирую вслух; они целуют мои пыльные башмаки, когда я декламирую вслух; они наотрез отказываются писать мне смс, предпочитая «живые» телефонные звонки; они пишут мне восторженные смс, лишенные всякой текстологической ценности; они, мои полубоги, как всегда, одарены и талантливы, болезненно остро конкурируя со мной, хотят влезть на все экраны страны, пока их двоюродный брат Валера (в общем-то, тоже музыкант) также до сих пор не в телевизоре; они стыдятся своих провинциальных друзей, которые не знают французского языка, и стараются при мне намеренно картавить; они, мои полубоги, рисуют винегретом на белых стенах перевернутые пентаграммы, они становятся повелителями столичных жилплощадей, они становятся бездомными обитателями столичных площадей, они растут в алмазный грифель характера, они растут во взрослеющую подлость, они растут в абитуриентов Берлинских академий, они растут в седых до тридцати, они растут в выросших и в невыросших, мои полубоги. А мне по-прежнему не с кем поговорить. Как-то так, Мира. Поэтому я и скучаю. С кем же кроме... я могла бы говорить?

Мира довольна моим монологом. Она подмигивает мне:

- Этого я и ждала. Поехали в аэропорт. Сто двенадцатый рейс.

* * *

И тут я увидела их. В углу нашей с Б. кухни, оформление арт-деко, никакого арт-нуво, дизайн и стиль, у нас хватит средств на любую прихоть. Я увидела их. Две банки с вареньем стояли возле подоконника, в углу. Я, наверное, слищемерила слегка, этот дом никогда не был королевским дворцом, хоть и находился в центре, да. Это был самый обычный дом, и хоромами он казался одному лишь Дантесу, державшему трехлитровые банки с вареньем под их с женой кроватью. Все, чем я обладала, оказалось все тем же мещанством, разросшимся разве только вширь от количества квадратных метров. До безобразия зрячая, смотрела я на эти банки и думала, сколько же может судьба шутить с нами. Мы никогда не жили во дворце. Но со стороны это смотрелось именно так. Мы с Б. сутками не общались друг с другом, но со стороны выглядели эталонной рокзвездной четой. Кажется, мне стоило бы это быстренько записать в блокнот, чтобы поразмыслить на досуге, но время уже поджимало. Мира сказала, мне нужно в аэропорт. И меня выкинуло на улицу.

* * *

И меня выкинуло на улицу. Nirgend ein Ort, nirgend ein Ort, как в том рассказе, который мы читали на первом курсе в университете. Ни в Большом Городе, ни в Черных Садах, ни в Отеле, ни в Каменоломне, ни в Кафедральном Соборе – нигде не было места. Я ехала туда, где тоже никому не было пристанища надолго, я ехала в аэропорт. Они даже рифмуются, «Nirgend ein Ort» и «Аэропорт».

Архангел Гавриил протрубил аварийный сигнал Страшного Суда, и мертвые должны подняться из могил, пока Архангел Гавриил трубил над Кафедральным Собором, экий флейтист! Он возвещал приход новой весны, розово-серой, свежей, дикой, его нимб

слепил меня, и мертвецы уже толкались на погостах, весна наступала по всем фронтам, я же ехала в аэропорт.

* * *

Авиакомпания «Poseido» (еще одно дебильное название для небесного бизнеса, еще одни конкуренты «Боли и Страха», между прочим) доставляет сто двенадцатым рейсом измученных долгим, свыше пятнадцати часов, перелетом пассажиров. Тугие чемоданы крутятся на ленте, обвешанные паспортами и посадочными талонами люди проявляют угасающие от усталости эмоции лишь в одном интересе – где же наш багаж? Резиновая лента плюется новыми и новыми баулами, внушая надежду, забирая надежду, отдавая багаж, задерживая багаж. Таксисты лопочут в уши поколениями узнаваемый речитатив.

Я стою в зале прилета международных авиалиний. На этот раз Мира слишком много от меня скрывает. Сегодня она так и не раскрыла мне секрет, что за чудо ожидает меня в этом прибывшем рейсе. Табло с информацией перемигивается зелеными словечками на иностранных языках, информируют заблудшие в аэропорту души.

Он выходит из белого коридора, светом в конце дневными лампами подсвеченного тоннеля, появляется он в этом мире, в моем мире, в аэропортовском мире, и мы с аэропортом еще будем делить его какое-то время, пока он не уйдет со мной на парковку, в мою машину Toyota Hilux, уже насовсем, навсегда мой. Змея сызнова проглотит свой хвост – последняя глава второго романа носит то же название, как и первая глава романа первого. У него, моего самого желанного пассажира, в руках потрепанная книжка Куна «Легенды и мифы Древней Греции», могу поклясться на черной свече, он весь полет читал про Троянскую войну. Пока «посейдоновский» самолет вез его ко мне. Он протирает салфеткой очки, складывает их в чехол, захлопывающийся так громко даже в этом шумном зале прилета, чехол кладет в карман рубашки; под рубашкой он носит футболку со значком Mitsubishi, красная эмблема трех бриллиантов; часы на его запястье показывают нездешнее время, я помогу ему перевести стрелки, я скажу ему, сколько времени прошло с тех пор, когда я каждую буйнозвездную ночь всматривалась в небо и искала его там, ведь «они все живут на звездочках», и мы их встретим там, за гранью, когда наступит наш час подниматься туда, выше всех самолетов... Я встречаю его здесь, обеими ногами на земле, он любит читать про Древнюю Грецию, о черт, да, это выносит мне мозг.

У моего брата серо-голубые глаза и темно-русые волосы. Мы очень похожи внешне. Андрей вскидывает руку, делает нарочито удивленное лицо и произносит: «Вот так встреча!» Единственная фраза, которую мне все-таки довелось от него услышать. Я всегда считала Аякса мертвым. Решила, что я сама его придумала. Телеграфировала ему по всем столбам на дно морское, отправляла позывные в небо и не могла дожждаться ответа. Теперь же мы, настоящие, из плоти и крови, стояли оба в терминале, на расстоянии всего пары-тройки шагов. Преодолимое расстояние. И мы с Аяксом обняли друг друга. Мы стали разговаривать.